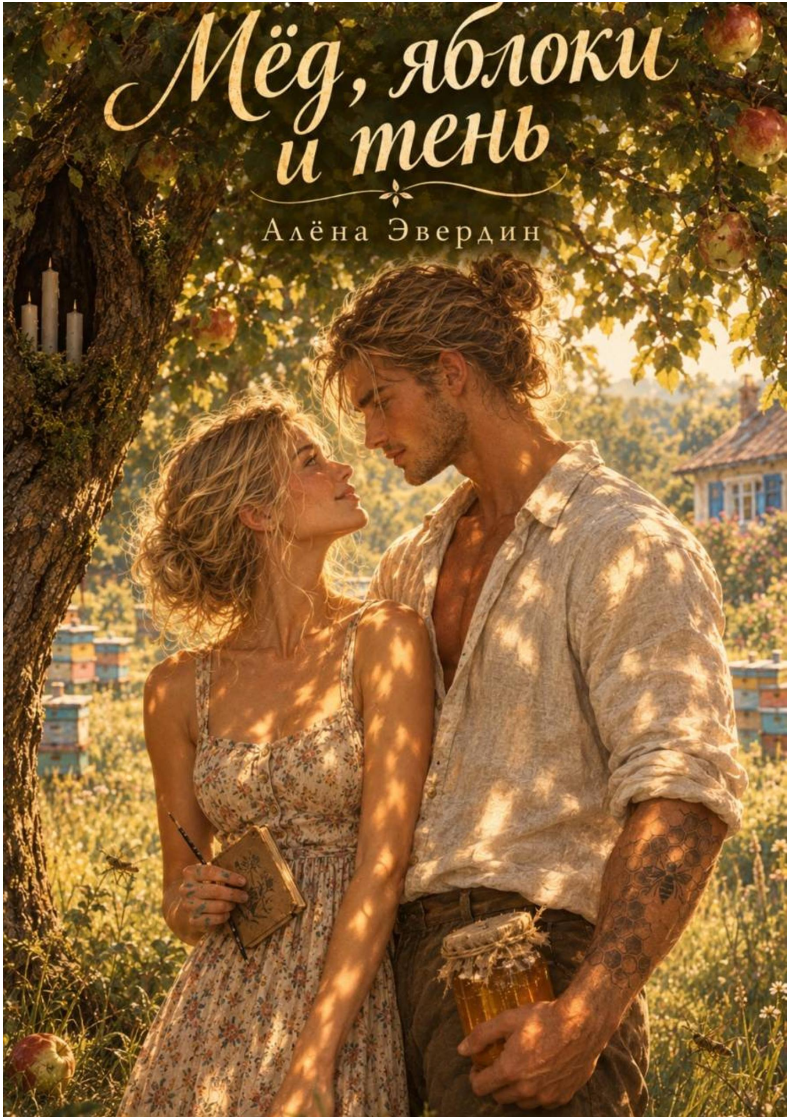

Мёд, яблоки и тень
Алёна Эвердин

Алёна Эвердин
Мёд, яблоки и тень

https://litres.ru/74754227
SelfPub; 2026

Аннотация

Говорят, в старой Яблоневке каждое лето на кривой яблоне сами собой загораются три свечи. Говорят, их зажигает тень девушки, которая исчезала двадцать лет тому назад. Говорят, лучше не ходить туда ночью.

Саша не верит в призраков. Она приехала в деревню, чтобы сбежать от парня, который уже всё решил за неё.

Но однажды ночью она увидит свечи своими глазами. И тогда ей придется разгадать тайну, которую местный отшельник хранит уже много лет. А заодно - встретить того, кто научит её говорить «да» только тогда, когда она действительно этого хочет.

Теплый, лёгкий и чувственный роман о лете, любви и выборе, который меняет всё.

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Автобус в никуда	9
Глава 2. Сельпо, слухи и тень за забором	28
Глава 3. Соты и краски	37
Глава 4. Дед Аким и чужая тень	50
Глава 5. Гроза	70
Глава 6. Ночь свечей	84
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Алёна Эвердин
Мёд, яблоки и тень

Пролог

Июль в Яблоневке пахнет мёдом и чабрецом.

Днём жара стоит такая, что воздух дрожит над полем, как над раскалённой сковородой. Пчёлы гудят оголтело — июль самый урожайный месяц, работы у них невпроворот. Яблоки ещё только наливаются соком, висят зелёные и твёрдые, как камешки. Но по ночам от реки тянет прохладой и туманом — густым, белёсым, он наползает на деревню, гасит звуки, крадёт очертания.

В такую ночь спится особенно сладко. Или не спится вовсе.

Дед Аким не спал.

Старая бессонница подняла его затемно, выгнала на крыльцо. Он сидел на лавке, закутавшись в телогрейку поверх ночной рубахи, и смотрел, как туман течёт по улице. Избы проступали из него смутными тенями. Старая липа у колодца тянула к небу корявые ветки — чёрные на сером, как пальцы, скрюченные артритом. Где-то далеко, за полем, сонно загудела корова — и смолкла, будто подавилась собственным голосом.

Тишина стояла такая, что звенело в ушах.

Дед Аким закурил. Огонёк сигареты дрожал в темноте, как маленький факел. Он курил и смотрел на старый сад, что чернел за пасекой. Яблони стояли плечом к плечу — корявые, замшелые, с дуплами, в которых, говорят, живут души. Дед Аким в это не верил, но на всякий случай крестился, когда проходил мимо.

Он затушил сигарету о перила и вдруг замер.

В саду кто-то был.

Фигура проявилась из тумана бесшумно — не вышла, а именно проявилась, как проступает изображение на фотобумаге. Женщина. Высокая, тонкая, в тёмном платке, который скрывал лицо. Юбка до земли — не то серая, не то белая, не то сотканная из самого тумана. Она двигалась медленно, неестественно плавно, и трава под её ногами не шевелилась. Ни шороха. Ни звука.

Дед Аким перекрестился. По спине пробежал холодок.

Женщина остановилась у старой яблони. Той самой — кривой, с чёрным дуплом в стволе. Местные обходили её стороной даже днём. Говорили, что в полночь там слышен плач. Что это дерево проклято. Что под ним зарыта не то трагедия, не то тайна, не то и то и другое. Говорили разное — но никто никогда не видел того, что видел сейчас дед Аким.

Она подняла руку. Медленно, текуче, как под водой.

Огонёк вспыхнул сам собой — без спичек, без зажигалки. Просто вспыхнул. За ним — второй. Третий.

Три свечи зажглись в дупле. Горели ровно, не мигая, хотя

ветер трепал ветки яблони. Свет был не жёлтым, не тёплым — серебристым, холодным, как свет далёкой звезды. В этом свете фигура женщины казалась ещё более призрачной, ещё более нереальной.

Она стояла неподвижно. Смотрела на свечи. Ждала.

Дед Аким не дышал. Он знал, что это за ночь. Знал, кто эта женщина — вернее, кем она была когда-то. Легенду о Яблоневой деве рассказывали в деревне уже двадцать лет. Но одно дело — слушать байки у печки, и совсем другое — увидеть ЕЁ. Своими глазами. В тумане. За час до рассвета.

Час прошёл или минута — дед Аким не поручился бы. Время в такие ночи течёт иначе.

Свечи погасли разом — все три, как по команде. Женщина опустила руку. Повернулась — медленно, неестественно, как будто её тело не слушалось законов человеческой анатомии. И ушла в туман.

Растворилась. Исчезла.

Дед Аким выдохнул. Воздух вырвался из лёгких с хрипом. Он только сейчас понял, что всё это время почти не дышал. Пальцы, сжимавшие перила, побелели. Сердце колотилось о рёбра, как птица о прутья клетки.

Он посидел ещё минуту. Поднялся — ноги не слушались. Перекрестился ещё раз и вошёл в избу. Плотно закрыл дверь. Задвинул засов.

У старой яблони не осталось никаких следов. Только три капли воска в дупле — но их никто не заметит. И туман, ко-

торый ещё долго клубился у корней, будто не хотел отпускать это место.

Над Яблоневкой занимался рассвет — розовый, нежный, полный птичьего гомона. Заскрипели колодцы. Где-то хлопнула дверь. Деревня просыпалась, не зная, что этой ночью старая легенда снова стала явью.

Деревня просыпалась, не зная, что этой ночью старая легенда снова стала явью.

До следующего года. До следующей июльской ночи. До следующей тени в тумане. Если только через год что-то не изменится.

Глава 1. Автобус в никуда

Автобус был из тех, про которые говорят «он ещё дедушку твоего возил».

Дребезжал всем корпусом, пах бензином, пылью и чьей-то придорожной шаурмой, которую предусмотрительный пассажир с заднего сиденья доедал уже полчаса, чавкая с таким упоением, что у Саши начал дёргаться глаз. Она сидела у окна, прижавшись лбом к стеклу, и смотрела, как за окном проплывают поля, перелески и покосившиеся указатели с названиями деревень, о которых она никогда не слышала.

Телефон в кармане был выключен уже третий час — и это было лучшее, что она сделала за последнюю неделю. А может, и за последние два года.

Телефон вообще в последнее время превратился в устройство для трансляции чужой уверенности. Артур писал с утра: «Как доехала?», «Напиши, как будешь на месте», «Я волнуюсь». Его мама — в общий чат: «Сашенька, Артур сказал, ты уехала? Надолго? А как же летние планы?» И смайлик-сердечко.

Саша выключила телефон, когда автобус проезжал мимо заправки с облупившейся вывеской «АЗС» и одинокой собакой, которая спала прямо у колонки, развалившись на спине и выставив брюхо солнцу. Пёс даже ухом не повёл. Вот он — дзен. Вот к чему надо стремиться.

Она снова прокрутила в голове тот вечер. Неделю назад. Квартира Артура — минимализм, белые стены, дизайнерский стол, на который нельзя ставить кружку без подставки. Они ужинали вдвоём, без родителей, и Артур был в хорошем настроении — рассказывал про новый проект, про тендер, про то, что осенью они, наверное, начнут делать ремонт в его квартире. «Ну, в нашей квартире», — поправился он с улыбкой.

Саша кивала. Ела пасту. Думала о том, что «наша квартира» — это его квартира, в которой у неё нет даже своей полки. Её вещи до сих пор лежали в чемодане в кладовке. Артур говорил: «Зачем распаковываться, если скоро переедем в большую?» Она не спорила.

— Кстати, — сказал он, наливая вино, — я тут прикинул: следующей осенью будет красиво. Свадьба в сентябре, золотая листва, фотки — огонь. Моя мама обрадуется. Ты же не против?

Он сказал это так, будто речь шла о покупке нового дивана. Легко. Невзначай. Как что-то, что уже решено и не требует обсуждения.

Саша замерла с вилкой в руке.

— Свадьба? — переспросила она.

— Ну да. Мы же два года вместе. Пора бы уже определяться. Я, конечно, не тороплю, но осенью — самое то. Я прикинул: загс, ресторан, гости. Ты как?

«Я как» — это было единственное, что он спросил. И то

в конце. И то между делом.

— Я не знаю, — сказала Саша.

— Что — не знаешь? Ресторан? Я сам подберу, не переживай.

— Нет. Я не знаю, хочу ли я замуж. Вообще.

Он посмотрел на неё — не сердито, а с лёгким недоумением. Так смотрят на кошку, которая вдруг отказалась есть корм.

— Ну, все хотят. Это нормально. Ты просто не думала об этом. А я подумал. Ты скажешь спасибо потом.

— Артур, я серьёзно. Я не уверена.

— Саша, — он отложил вилку и взял её за руку. — Ты просто устала. У тебя заказ горит, ты не спала трое суток. Не принимай решений в таком состоянии. Отдохнёшь — и всё встанет на свои места.

— А если не встанет?

— Встанет, — он улыбнулся. — У нас всё хорошо. Мы же команда.

Команда. Это слово всегда её цепляло. В команде кто-то капитан, а кто-то — игрок на скамейке запасных. И Саша точно знала, кто из них кто.

Она не стала спорить. Допила вино. Убрала тарелки в посудомойку. А через три дня, роясь в кармане его пиджака в поисках чека на химчистку, нашла бархатную коробочку. Открыла. Кольцо. Простое, дорогое, с бриллиантом. Не в её вкусе — она любила винтажное серебро и камни с истори-

ей, — но очень в его. Правильное. Статусное. Как всё в его жизни.

Он купил кольцо. Не спросив. Даже не намекнув.

Саша закрыла коробочку. Положила обратно в карман. И в тот же вечер сказала Артуру, что ей нужно уехать. К бабушкиному дому. В деревню. Поработать, подумать.

Он не понял. Нахмурился.

— Что значит «подумать»? О чём тут думать? Всё же ясно.

— Мне не ясно. Мне нужно время.

— Сколько?

— Неделя. Может, две.

Он помолчал. Потом пожал плечами:

— Ладно. Отдохни. Только не затягивай. Осенью у нас планы.

Планы. У НАС. Она кивнула. Вышла. Села в такси. И только когда за окном поплыли московские пробки, выдохнула — длинно, с присвистом, как воздушный шарик, из которого наконец вынули пробку.

Автобус тряхнуло на ухабе. Саша стукнулась лбом о стекло.

— Осторожнее там, — раздался голос сзади. — Дороги у нас — сами видите. После зимы каждый год как после бомбёжки. В прошлом годе вообще фура в кювет съехала. Три дня доставали.

Саша обернулась. Сзади сидела женщина лет шестидеся-

ти, в цветном платке, завязанном под подбородком тугим узлом. Платок был весёленький — в маках, — а вот лицо у женщины было серьёзное, изучающее. На коленях у неё стояла корзинка, накрытая полотенцем, и оттуда доносилось подозрительное копошение.

— А далеко ещё до Яблоневки? — спросила Саша.

— Минут через пятнадцать будем. А вы к кому? Я всех тут знаю. У нас не деревня — большая семья. Даже слишком большая. Иногда хочется никого не знать, но не получается.

— Я... к себе. Бабушкин дом. Мироновых.

Женщина всплеснула руками так, что корзинка подпрыгнула. Из-под полотенца высунулся жёлтый петушиный гребень и тут же спрятался обратно, издав возмущённое кудахтанье.

— Мироновых? Анны Степановны внучка? Да ты что! А я баба Нюра, из пятого дома. Мы с твоей бабушкой двадцать лет дружили. Она про тебя всё уши прожужжала: «Сашенька рисует, Сашенька в художку поступила, Сашенька в Москве теперь». Царствие небесное Анне Степановне, золотой человек была. Только вот характер — кремень. Если что решила — трактором не сдвинешь.

Саша улыбнулась. Про бабушкин характер она знала не понаслышке. Однажды та в одиночку перекрыла крышу, потому что «мужики нынче ненадёжные». Ей тогда было семьдесят два.

— А чего одна? Без мужа? Без парня? — баба Нюра по-

далась вперёд, и в её глазах зажёгся тот самый огонёк, который бывает у людей, искренне уверенных, что личная жизнь ближнего — это их профессиональный интерес.

— Парень в Москве. Я просто отдохнуть. Поработать.

— Отдохнуть — это правильно. У нас хорошо. Тихо. Воздух — ложкой ешь. Правда, скучно бывает, особенно молодым. Из молодых тут только Ромка Зорин, пасечник, да Катька Сомова, она при матери живёт. Мы с ней вместе в сельпо работаем, я за прилавком, она товар принимает. Ромка — тот бирюк бирюком, четвёртый год один, никого к себе не подпускает. А Катька... девочка хорошая. Хозяйственная. Очень хозяйственная. Чересчур даже.

Последнее слово было сказано с такой интонацией, что Саша сразу поняла: «хозяйственная» — это не комплимент. Это приговор.

— А что за легенда? — спросила Саша, вспомнив вдруг что-то смутное из детства. — Мне бабушка вроде рассказывала... про свечи какие-то?

— Ой! — баба Нюра снова всплеснула руками. Петух в корзинке возмущённо закудахтал, и она прикрикнула на него: — Цыц, Петруша! — и снова повернулась к Саше. — Ты про Яблоневую деву? Так это ж наша главная достопримечательность! Неужто не помнишь?

— Смутно. Я маленькая была.

— Ну так слушай. Двадцать лет назад жила тут девушка, Аня Орлова. Красивая, тихая, только несчастная. Родители

— звери. Отец пил, мать бил. Аня влюбилась в парня — говорят, приезжего, — и решила с ним сбежать. Договорились встретиться ночью у старой яблони, что на краю сада. Она зажгла три свечи в дупле — условный знак: «Я здесь, я жду». А он не пришёл. Она прождала до рассвета, а потом пропала. Никто не знает куда. Может, утопла. Может, в город подалась. А может, и похуже что.

Баба Нюра перекрестилась. Петух в корзинке затих, будто тоже слушал.

— И с тех пор, — продолжила она шёпотом, — каждое лето в одну и ту же ночь на той яблоне сами собой загораются три свечи. Ровно в полночь. Горят час — и гаснут. Я сама видела. Своими глазами. И фигура там стоит — женская, прозрачная. Тень. Это душа Ани. Ждёт своего неверного.

Саша почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она не верила в призраков — конечно, нет. Она была взрослым, разумным человеком с высшим образованием и скептическим складом ума. Но что-то в этой истории царапало. Девушка, которая зажгла свечи и ждала. Которая надеялась, что за ней придут. А за ней не пришли.

— И когда это бывает? — спросила она.

— Через пару недель. В ночь на пятнадцатое июля. Ты поосторожнее, внучка. Не ходи туда ночью. Призраки — они не кусаются, но душу вынимают. Я знаю, что говорю.

Автобус затормозил. Водитель — мужик в кепке, похожий на уставшего медведя, — обернулся и рявкнул:

— Яблоневка! Кому надо — выход. Кому не надо — тоже выход, конечная. Дальше я не еду, у меня обед.

Саша начала подниматься. Баба Нюра всплеснула руками:

— Ой, а я-то дальше еду! В Малиновку, к сестре. Она там третий год одна, помочь надо по хозяйству. Ты, Сашенька, заходи в сельпо, как обустроишься! Я тебя познакомлю с нашими. Хлеб тебе отложу, а то его быстро разбирают.

— Спасибо, — улыбнулась Саша. — Обязательно зайду.

— Ну, с богом, внучка. Дом Мироновых — он на отшибе, за липами. Спроси кого — покажут. А нет — сама найдёшь, не забыла небось.

Саша подхватила рюкзак. Чемодан выволокла из багажного отсека с третьей попытки — старая «молния» заела, а колёсико, до этого исправно скрипевшее, решило, что с него хватит, и отвалилось, покатившись в пыль. Саша чертыхнулась, поймала колёсико и сунула в карман. Автобус фыркнул сизым выхлопом, развернулся на узкой дороге, едва не снеся покосившийся указатель «Яблоневка», и укатил в сторону Малиновки.

Тишина накрыла её, как тёплое одеяло.

Саша выпрямилась и огляделась. Дорога уходила в сторону деревни, петляя между полем и старым яблоневым садом. Вдалеке виднелись крыши домов, утопающие в зелени. Над полем дрожал нагретый воздух. Пахло — божественно: скошенная трава, речная вода, что-то сладкое, наверное липа цветёт. И стрекот кузнечиков стоял такой густой, что каза-

лось, будто звенит сам воздух.

Она посмотрела на чемодан. Чемодан посмотрел на неё — жалобно, одноколёсно, с торчащей из сломанной «молнии» рубашкой.

— Ну что, дружок, — сказала она вслух. — Пойдём искать смысл жизни.

Она потащила чемодан по дороге. Тот скрежетал, упирался, цеплялся за каждый камушек. Через двести метров Саша поняла, что с обувью вышла промашка: балетки на тонкой подошве собирали всю пыль и мелкие камушки, а заодно норовили соскользнуть с ноги на каждом шагу. Ещё через двести метров она поняла, что не помнит дороги.

Последний раз она была здесь десять лет назад — после школы, на летних каникулах. Они с бабушкой ходили в деревню короткой тропой через поле. Но где начиналась эта тропа, Саша не имела ни малейшего понятия. Она включила телефон. Экран загорелся, показал три пропущенных от Артура — и тут же погас. «Нет сигнала сети». Замечательно. Двадцать первый век, люди на Марс собираются, а в ста пятидесяти километрах от Москвы не ловит связь.

— Я художница, а не картограф, — пробормотала Саша, пиная непослушный чемодан. — Я рисую обложки к любовным романам. Там героини не плутают по бездорожью с чемоданом-инвалидом. Их сразу встречают загорелые красавцы на лошадях.

Загорелый красавец не появлялся. Появилась коза.

Белая, облезлая, с наглыми жёлтыми глазами и бородкой, придававшей ей сходство с восточным мудрецом. Она стояла у покосившегося забора и смотрела на Сашу с таким выражением, будто впервые в жизни видела человека, который не знает, куда идёт. И осуждала его за это.

— Добрый день, — сказала Саша. — Вы не подскажете, где дом Мироновых?

Коза дёрнула ухом. Отвернулась. Всем своим видом она давала понять: твои проблемы — это твои проблемы.

— Спасибо, очень информативно.

Саша пошла дальше. Дорога раздваивалась. Одна колея уходила вправо, к центру деревни — виднелись дома, заборы, колодезный журавль. Другая — влево, через заросли бузины, куда-то в сторону садов. Саша помнила, что бабушкин дом стоял на отшибе. Значит, влево. Наверное.

Она пошла влево. Через десять минут бузина сменилась крапивой, крапива — каким-то оврагом, овраг — снова крапивой. Дорога петляла, сужалась и в итоге упёрлась в старый яблоневый сад. Яблони, яблони, яблони — высокие, запущенные, с корявыми стволами и мелкими зелёными плодами. И никаких домов. Саша чертыхнулась, развернулась и пошла обратно.

Через некоторое время она вышла к колодцу. Старый, с деревянным срубом и железной ручкой, он стоял на краю деревни, в тени огромной липы. И тут Саша наконец узнала местность. Да, точно! Вот этот колодец. А вон там, за липа-

ми — дорога к бабушкиному дому. Они с бабушкой ходили сюда за водой по утрам. Саша помнила, как бабушка крутила ручку и приговаривала: «Вода из этого колодца самая вкусная. Сладкая, как мёд». Десять лет прошло, а колодец — вот он. Стоит. Ждёт.

Саша бросила чемодан, подошла к колодцу и поняла, что не умеет им пользоваться. В детстве бабушка не подпускала её близко — боялась, что внучка свалится. А в тот единственный приезд после школы Саше было не до колодцев: она читала книжки в гамаке, рисовала акварельки и считала дни до возвращения в Москву. Дура была.

Она покрутила ручку. Та скрипнула. Ведро булькнуло где-то в глубине, но наверх не пошло. Она покрутила в другую сторону — цепь заела. Она дёрнула — ведро издало звук «хлюп» и осталось на месте.

— Да что ж ты такое, — прошептала Саша. — Я взрослая женщина. У меня высшее образование. Я могу отличить Мане от Моне. Я веду переговоры с заказчиками. Я почти плачу ипотеку. Но колодец — колодец сильнее меня.

— Помочь?

Голос раздался откуда-то сбоку и сзади, и Саша вздрогнула так, что едва не выронила ручку.

Он стоял в нескольких шагах. Босой. В одних джинсах, низко сидящих на бёдрах, открывающих косую линию пресса. На плече висела мятая льняная рубашка — видимо, только что снял и не успел надеть. Солнце било ему в спину, и

Саша не сразу разглядела лицо. Зато разглядела всё остальное: широкие плечи, загорелую до бронзы кожу, светлые выгоревшие волосы, собранные в низкий небрежный пучок, из которого половина прядей выбилась. Татуировка на левом предплечье — пчелиные соты, уходящие под закатанный рукав. И мышцы. Много мышц. Не бодибилдерские, бугристые, а другие — длинные, рельефные, как у пловца. Такие мышцы бывают у людей, которые не качаются в зале, а просто живут телом. Работают. Двигаются. Дышат.

Саша сглотнула. В горле почему-то пересохло.

— Городская? — спросил он. Голос был низкий, с ленивой хрипотцой, как будто он только что проснулся. Или как будто ему было всё равно. — Заблудилась?

— Нет, — ответила Саша, и собственный голос показался ей каким-то чужим. Слишком высоким. — Я так развлекаюсь. Пеший туризм с чемоданом на колёсиках. Очень модный тренд этим летом. Все московские девушки так делают. Вы просто отстали от моды.

Он усмехнулся — уголком губ, не разжимая. И на правой щеке проступила ямочка. Одна. Несимметричная.

Саша тут же подумала, что это самая раздражающая деталь мужского лица, которую она когда-либо видела. Потому что невозможно было не смотреть на неё.

— Ну-ну, — сказал он. — Далеко собралась?

— Дом Мироновых. Анны Степановны.

Усмешка исчезла. Он посмотрел на неё внимательнее —

уже без ленивого прищура, а с каким-то новым, острым интересом. Как будто она только что назвала пароль.

— Анны Степановны? Так ты — Саша? Внучка?

— Да. А ты откуда знаешь?

— Баба Аня много про тебя рассказывала. Говорила: «Приедет — не обижай». Я тогда пацаном был, но запомнил. Она мне книжки давала читать. С картинками. Про пчёл.

У Саши что-то сжалось в горле. Бабушка. Она говорила с соседским мальчишкой о ней. Просила не обидеть. Давала книжки про пчёл. А она, Саша, за десять лет выбралась сюда один раз.

— Я не знала, — сказала она тихо.

— Теперь знаешь.

Он взялся за ручку колодца, крутанул — легко, привычно, как будто делал это тысячу раз. Ведро послушно пошло вниз, булькнуло, поднялось — полное ледяной, прозрачной воды, в которой плясали солнечные зайчики. Он налил кружку, прицепленную к цепочке, протянул Саше.

— Пей. Жарко. У тебя лицо красное.

— Спасибо за комплимент.

— Это не комплимент. Это диагноз. Тепловой удар почти. Ты сколько без воды идёшь?

— С автобуса. Я заблудилась. Пошла через сады, а там тупик.

— Через сады? — он хмыкнул. — Там вообще-то тропы нет. Только козы ходят.

— Я уже поняла. Коза мне не помогла.

— Коза вообще редко помогает. У них характер скверный. Как у некоторых.

Он бросил взгляд на её чемодан — одноколёсный, перекошенный, с торчащей рубашкой — и вздохнул.

— Ладно, пошли. Дом Мироновых — крайний слева за липами. Я рядом живу, через забор.

Он подхватил её чемодан одной рукой — легко, как пустую коробку, — и зашагал по дороге. Саша засеменила следом, чувствуя себя маленькой и нелепой.

— Спасибо, конечно. Но я могла бы сама.

— Могла бы. Но не умеешь.

— Что — не умею?

— Чемодан собирать, — он покосился на её багаж. — Ты зачем столько барахла привезла? Тут не Москва. Тут резиновые сапоги нужны, а не... — он сделал паузу, подбирая слово, — ...это. Что это вообще?

— Балетки. Обувь такая.

— Я запомню. Буду знать, как выглядит обувь, в которой нельзя ходить.

Саша хотела возмутиться — её балетки стоили восемь тысяч и были куплены на распродаже в «Цветном»! — но не нашлась. Он уже шагал вперёд, и ей пришлось почти бежать, чтобы не отстать. Со спины он выглядел ещё внушительнее: лопатки двигались под загорелой кожей, на правом плече темнела ещё одна татуировка — какая-то надпись, не разо-

брать. Пучок на затылке подпрыгивал в такт шагам.

Они вышли к двум домам. И тут Саша всё вспомнила.

Вот он. Бабушкин дом. Старый, деревянный, с резными наличниками и покосившимся крыльцом. Та самая яблоня у входа — раскидистая, старая, с зелёными яблоками, ветки до земли. Синие ставни, краска облупилась, но рисунок тот же — бабушка сама красила, когда Саша была маленькой. Наличники с голубками — дед вырезал на свадьбу. В палисаднике — разросшиеся кусты смородины и пионы, которые уже отцвели.

У Саши защемило сердце. Всё было такое же — и всё другое. Как будто вернулась в детство, но детства уже нет. Только запах остался — яблоки, сухие травы, дерево.

— Ключи есть? — спросил Рома.

— Есть.

Она достала связку, которую дала мама. Стала перебирать — один ключ, второй, третий. Руки дрожали. От жары. Или от встречи. Или от того, что он стоял слишком близко и ждал, не говоря ни слова, и это молчание было хуже любых комментариев.

— Вот.

Она открыла калитку. Та заскрипела — точь-в-точь как в детстве. Саша шагнула во двор и замерла.

Всё заросло. Трава по пояс. Крапива у крыльца. Мох на ступеньках. Но яблоня уже плодоносила, и пахло так, что хотелось стоять и вдыхать бесконечно.

Рома опустил чемодан у крыльца.

— Если комары зажрут — у меня мазь есть. От них и от запущенных случаев. Можешь постучать. Если не сплю.

— А если спишь?

— Тогда терпи. Или кричи — авось проснусь.

Он развернулся и пошёл к своему дому. У крыльца остановился, бросил через плечо:

— Мёд занесу утром. С липы. Он от нервов помогает.

И скрылся за дверью, прежде чем Саша успела ответить, что у неё нет нервов. Нервы у неё были. Просто она их хорошо прятала.

Она вошла в дом.

Внутри было прохладно и сумеречно. Ставенки прикрыты, свет пробивался сквозь щели — золотые полосы на деревянном полу, и в них танцевали пылинки. В углу — печка с изразцами, потускневшими от времени. На стенах — фотографии в деревянных рамках. Саша узнала бабушку: молодая, в сарафане, хохочет, запрокинув голову. Рядом — дед, которого она не застала. Мама в школьном фартуке. И она сама — пятилетняя, с бантом, держит яблоко.

Она провела пальцем по столу — пыль. По подоконнику — пыль. По рукомойнику — сухо.

— Ну что, ба, — сказала она вслух. — Вот и я. Сбежала. Как ты когда-то. Только ты — к счастью. А я пока не знаю куда. Но хоть от несчастья.

Она распахнула окна, впуская солнце и запах яблок. На-

шла веник, ведро. Поняла, что воды нет. Придётся учиться пользоваться колодцем, или просить соседа.

О соседе думать не хотелось. Точнее — хотелось, но слишком сильно, и поэтому — нельзя.

Она включила телефон. Четыре пропущенных от Артура. Одно сообщение: «Надеюсь, ты доехала. Не затягивай с отдыхом. У нас планы на осень».

Планы. У НАС.

Саша выключила телефон. Достала из рюкзака диктофон — старенький, с кассетой. Нажала «запись».

— День первый. Я в Яблоневке. Дом живой. Воды нет. Сосед — хам и красавец в одном флаконе. У него татуировка в виде сот и ямочка на правой щеке. Нет, я не специально заметила. Просто заметила. Кажется, я совершила лучшую глупость в своей жизни. Или худшую. Посмотрим.

Она выключила диктофон. Взяла ведро и пошла к колодцу — учиться выживать.

Утром на крыльце её ждала баночка мёда. Прозрачного, золотого, пахнущего летом. И записка на обрывке крафтовой бумаги, неровным почерком:

«К чаю. Не кисни. Р.»

Саша вертела баночку в руках и улыбалась, хотя твёрдо решила не улыбаться. Заварила чай, намазала мёд на кусок чёрного хлеба и подумала, что ничего вкуснее в жизни не ела.

А потом одёрнула себя: «Это просто мёд!».

После завтрака она достала краски. Этюдник скрипнул. Бумага — плотная, зернистая. Саша выдавила на палитру охру, кармин, лазурь. Окунула кисть. Сделала первый мазок.

Через час на листе было поле, залитое солнцем. Ульи, разноцветные, как пряничные домики. И мужская фигура со спины. Без лица. Но по развороту плеч было ясно — это он.

Саша отложила кисть. Посмотрела на рисунок. Потом на банку мёда.

— Так, подруга, — сказала она вслух. — Ты здесь не за этим. Ты здесь думать. Думай о планах. Об осени. О том, что всё уже решено.

Она убрала рисунок в артбук. Спрятала под матрас. Вышла на крыльцо — подышать.

И столкнулась с ним.

Рома стоял у забора с дымарем в руках. Без футболки. Опять. Саша отвела взгляд слишком быстро — и тут же разозлилась на себя за это.

— Доброе утро, — сказал он. — Мёд попробовала?

— Да. Спасибо. Очень вкусно.

— Это липовый. Свежий буду качать на неделе. Хочешь посмотреть?

— Я работаю. Рисую.

— Я видел. Ты у окна сидела. Красиво рисуешь. Только осторожничаешь.

Саша нахмурилась:

— Что ты имеешь в виду?

— У тебя мазки рваные. Как будто ты хочешь что-то сказать, но боишься. Ты всегда так рисуешь?

— Не твоё дело.

— Не моё, — согласился он. — Но если захочешь — я тут. Забор невысокий.

И пошёл к пасеке, оставив Сашу стоять на крыльце с открытым ртом.

Она зашла в дом. Включила диктофон.

— День второй. Он сказал, что я осторожничаю. Что мазки рваные. Откуда он знает? Он что, видел мои рисунки? И почему меня это так бесит? И почему я улыбаюсь, когда об этом думаю?

Она выключила диктофон. Посмотрела на банку мёда. Потом на артбук под матрасом. Потом в окно — туда, где за забором виднелась пасека.

Лето только начиналось. И что-то подсказывало Саше, что «просто подумать» здесь не получится.

Глава 2. Сельпо, слухи и тень за забором

К утру второго дня Саша окончательно осознала три вещи.

Во-первых, колодец ей больше не враг. После вчерашней эпопеи с ведром она научилась-таки крутить ручку правильно — не рывками, а плавно, как будто гладишь большого железного зверя. Ведро поднималось послушно, вода лилась ледяная, сладкая, и Саша чувствовала себя почти героиней. Почти — потому что на четвёртом ведре у неё всё равно заклинило цепь, и она простояла минут пять, пытаясь её распутать и тихо ругаясь сквозь зубы. Но в целом — прогресс.

Во-вторых, мёд на завтрак — это гениально. Она съела уже полбанки, намазывая его на чёрный хлеб, который привезла с собой (уже немного чёрствый, но с мёдом сойдёт), и думала о том, что никогда не понимала людей, которые заедают стресс сладким. Теперь понимала. Правда, стресс у неё был не совсем обычный — у него были светлые волосы, татуировка в виде сот и привычка ходить без футболки. Но это детали.

В-третьих — и это было самое неприятное, — ей нужно в магазин. Потому что хлеб кончился, чай кончился, а банка

мёда хоть и была волшебной, но питаться одним мёдом всю неделю — верный путь к диабету и разговорам с пчёлами на их языке. Саша представила, как жужжит проходящим мимо пчелам: «Уважаемая, не подскажете, где тут ближайший супермаркет?» — и решила, что пора выбираться в люди.

Деревня встретила её полуденным зноем и запахом пыли. Дорога, по которой она вчера плутала с чемоданом, сегодня казалась почти родной — вон тот забор с облезшей краской, вон та коза (опять смотрит осуждающе), вон поворот к колодцу. Саша надела самую лёгкую рубашку, соломенную шляпу, которую нашла в сенях, и теперь шагала, обмахиваясь ею, как веером. Толку было мало — жара стояла такая, что даже кузнечики притихли.

Сельпо обнаружилось в центре деревни — деревянное крыльцо, выцветшая вывеска «Продукты», рядом с которой кто-то заботливо прибил фанерку с надписью от руки: «Хлеб завозят в среду и пятницу. Кому срочно — стучите в дом». Саша толкнула дверь и вошла в прохладу, пахнущую мукой, мылом и чем-то пряным — не то корицей, не то гвоздикой.

За прилавком стояла баба Нюра — в том же платке с маками, только теперь без корзинки и без петуха. Увидев Сашу, она всплеснула руками точь-в-точь как в автобусе.

— Сашенька! Добралась-таки! А я уж думала — не дойдёшь, придётся поисковую группу снаряжать. Ну как дом? Живой?

— Живой, — улыбнулась Саша. — Пыльный только. Я

вчера три часа полы мыла.

— Это правильно. Дом — он внимание любит. Как женщина. Без внимания чахнет. Ты проходи, не стой в дверях. У меня сегодня хлеб свежий, утром привезли. И чай есть — с мятой и смородиновым листом. Будешь?

— Буду. И хлеб, и чай.

— Вот и славно.

Баба Нюра засуетилась, загремела чашками. Пока она разливала чай из пузатого заварника, Саша разглядывала прилавок. Конфеты в стеклянных банках, печенье в бумажных пакетах, спички, соль, сахар, три вида круп. На отдельной полке — местный мёд в банках разного калибра. Золотой, янтарный, тёмный — гречишный, догадалась Саша.

— Это всё с пасеки Зориных, — перехватила её взгляд баба Нюра. — Ромкина работа. Он в прошлом году на ярмарку в область возил — первое место взял. У него рука лёгкая, пчёлы его любят. А пчёлы, знаешь, кого попало не терпят.

— Да, он мне вчера банку занёс. Липовый.

— Липовый — это хорошо. Липовый от сердца помогает. И от нервов. Тебе, я гляжу, от нервов надо. Вон, глаза дёргаются.

Саша машинально прижала пальцы к веку. Действительно, левый глаз слегка подёргивался — то ли от жары, то ли от всех приключений, то ли от того, что она полночи ворочалась и думала о словах Ромы. «Ты осторожничаешь». Надо же — увидел. За пять минут разговора увидел то, что Артур

за два года не заметил.

— Кстати, о нервах, — баба Нюра поставила перед ней чашку с дымящимся чаем и села напротив, подперев щёку рукой. — Ты с Ромкой-то поосторожнее. Парень он хороший, но... сложный. После Лизы сам не свой.

— Лизы?

— Невеста его бывшая. Уехала три года назад, прямо перед свадьбой. Говорят, сказала, что он слишком сильно любит и ей дышать нечем. Не знаю уж, что там у них вышло, но Ромка после этого год из дома не выходил почти. Дед Аким его вытаскивал — на пасеку, к пчёлам. Пчёлы-то не спрашивают, любишь ты кого или нет. Им мёд подавай.

Саша молчала, вертя в руках чашку. Чай был душистый, мятный, с привкусом смородины. Значит, его бросили. Как её — не бросили, но даже не спросили. Разные вещи, а боль одна.

— А Катя? — спросила она, вспомнив вчерашний разговор. — Вы говорили, она в сельпо работает.

— Катька-то? — баба Нюра махнула рукой. — Сегодня как раз её смена. С минуты на минуту придёт. Ты уж с ней поласковее. Она девочка неплохая, только вот... ну, ты сама увидишь.

Дверь скрипнула, и на пороге возникла девушка.

Саша обернулась — и первое, что она почувствовала, было нечто похожее на укол. Катя Сомова оказалась миловидной, даже красивой — в том самом тихом, акварельном

смысле. Светлые волосы, заплетённые в длинную косу, перекинутую через плечо. Серые глаза, опушённые белесыми ресницами. Тонкие черты, бледная кожа — видимо, она старалась не загорать, в отличие от местных, ходивших с бронзовыми от солнца руками и лицами. Одета просто, но опрятно: ситцевое платье в мелкий цветочек, на ногах — не резиновые сапоги, а аккуратные босоножки.

— Добрый день, — сказала она, и голос у неё оказался под стать внешности — тихий, мягкий, какой-то... обволакивающий.

— Катюша! — баба Нюра поднялась. — А у нас гостья. Помнишь Анну Степановну Миронову? Это внучка её, Саша. Из Москвы приехала.

Катя перевела взгляд на Сашу. Улыбнулась — вежливо, без теплоты.

— Очень приятно. Я Катя. Мы с Ромой соседи.

С Ромой. Не «с Ромой Зориным», не «с пасечником». Просто «с Ромой». Как будто это что-то само собой разумеющееся. Как будто они — пара, а Саша — просто прохожая.

— Мы тоже соседи, — сказала Саша и тут же пожалела об этом. Слишком быстро. Слишком похоже на оправдание.

— Да, он говорил, — Катя прошла за прилавок, поправила банки с мёдом — чисто машинально, но Саша заметила, как её пальцы на секунду задержались на этикетке. — Вы недавно приехали, да? Рома помог вам донести чемодан. Он вообще всем помогает. У него такое... хобби. Спасать.

Последнее слово было сказано с лёгкой усмешкой. Не злой — но с оттенком. Баба Нюра покосилась на Катю и кашлянула.

— Ты, Катюш, чайник, что ли, поставь. Выпей чайку.

— Я не хочу, — отозвалась Катя, не оборачиваясь. — Я лучше товар пересчитаю. Там крупа пришла, надо разобрать.

Она скрылась в подсобке, и в сельпо снова стало тихо. Только муха билась о стекло — бззз, бззз, бззз.

— Вот, — тихо сказала баба Нюра, — я ж говорила. Хозяйственная. Даже слишком.

Саша допила чай, расплатилась за продукты. Уже у двери её догнал голос Кати — она вышла из подсобки с коробкой в руках.

— Саша, можно вас на минуточку?

Саша обернулась. Катя стояла, прижимая коробку к груди, и улыбалась — всё той же вежливой, негреющей улыбкой.

— Я просто хотела предупредить. По-соседски. Рома — он человек непростой. У него было много... разочарований. Невеста ушла. Потом ещё одна девушка, из города, приезжала прошлым летом — тоже уехала. Он тяжело переживает. Вы уж не обижайтесь, если он покажется грубоватым. Это у него защитное.

Саша смотрела на неё и пыталась понять: это искренняя забота или что-то другое? Глаза у Кати были ясные, чистые, но где-то на самом дне — тень. Как в колодце: вода прозрач-

ная, а что на дне — не видно.

— Спасибо, — сказала Саша. — Я учту.

— И ещё, — Катя чуть понизила голос. — Вы ведь надолго к нам?

— Не знаю. Может, на пару недель.

— Ну, это недолго. Он переживёт, — она улыбнулась ещё раз и скрылась в подсобке.

Саша вышла на крыльцо, и её обдало жаром. Она стояла, сжимая в руке пакет с хлебом, и думала. Значит, Рома спасает. Значит, у него хобби такое. Значит, она для него — просто очередная городская дурочка, которую нужно донести до дома, напоить водой, занести мёд и забыть.

И почему её это задело? Она же сама твердила себе: «У тебя парень, ты здесь не за этим». Но Катя с её тихим голосом и холодными глазами задела какой-то оголённый нерв. Как будто Сашу только что поставили на место. Твоё место — в Москве. Твоё место — рядом с Артуром. Твоё место — не здесь.

Она тряхнула головой и пошла обратно.

Вечером она сидела на крыльце с чашкой чая и смотрела, как солнце скатывается за холмы. От пасеки тянуло дымком — Рома развёл дымарь, успокаивал пчёл перед ночью. Саша смотрела на его фигуру, двигавшуюся между ульев, и думала о том, что рассказала баба Нюра. Бросили. Перед самой свадьбой. Сказали, что он любит слишком сильно, и от этого нечем дышать.

Она вспомнила Артура — как он сказал: «Ты вечно всё драматизируешь». Вспомнила, как он купил кольцо, не спросив. Вспомнила, как сидела на том ужине с белой скатертью и прятала руки в краске. И вдруг поняла: её тоже не спрашивают. Просто она не невеста, которую бросили, а невеста, которую не замечают. Что хуже?

Она не успела додумать эту мысль. Краем глаза она заметила движение — там, где забор упирался в край сада. Что-то мелькнуло. Тень? Фигура? Она повернула голову, но там уже никого не было. Только ветка яблони качалась, хотя ветра не было.

Саша поёжилась. Вспомнилась легенда — Яблоневая дева, три свечи, призрак, который ждёт. Глупости, конечно. Но что-то в этом саду было не так. Что-то висело в воздухе — как запах гари после дальней грозы.

Она допила чай и зашла в дом. Плотно закрыла дверь. Задвинула засов.

Утром на крыльце её ждала банка мёда. На этот раз — тёмного, почти коричневого. И записка, всего два слова:

«Гречишный. Р.»

Саша улыбнулась — и тут же нахмурилась. В углу крыльца, у самых перил, лежало что-то ещё. Она наклонилась.

Старая фотография. Цветная, но выцветшая по краям. На ней — Рома, молодой, с короткой стрижкой (без пучка, странно видеть его таким), и девушка. Блондинка с холодными глазами. Она прижимается к его плечу, а он улыбается

— широко, открыто, как никогда не улыбался при Саше.

На обороте — надпись от руки: «Рома и Лиза. За месяц до свадьбы».

Саша перевернула фотографию. Под ней, на досках крыльца, лежал сложенный вчетверо листок. Она развернула его.

«Привет, соседка. Просто чтобы ты знала: он до сих пор её любит. Ты для него — просто тень. Не обольщайся».

Подписи не было. Но Саша уже знала почерк — аккуратный, округлый, почти ученический. Она видела его сегодня в сельпо, когда Катя заполняла накладную.

Саша стояла на крыльце, сжимая в одной руке банку мёда, в другой — фотографию с запиской. Солнце уже поднялось над яблонями, утро было тёплым, медовым, прекрасным — и всё равно что-то внутри неё оборвалось.

Нет, не из-за Лизы. Из-за того, что кто-то в этой тихой, сонной деревне желал ей зла. Кто-то, кто улыбался в лицо и называл её «соседкой». Кто-то, кто знал о Роме больше, чем она сама.

Она зашла в дом. Положила фотографию на стол. Рядом поставила банку мёда — гречишного, тёмного, почти чёрного.

Глава 3. Соты и краски

На третий день Саша поняла, что с рисованием у неё проблемы. Серьёзные.

Она сидела за столом у распахнутого окна, перед ней лежал этюдник, а в этюднике — чистый лист. Абсолютно, девственно, издевательски чистый. Она просидела так уже час. Час! Раньше за это время она успевала сделать три-четыре наброска, накидать композицию, подобрать палитру. А теперь — ноль. Пустота. Белая стена.

Заказчик прислал уже два письма. Первое — вежливое: «Александра, как продвигаются эскизы?» Второе — менее вежливое: «Александра, мы ждём. Сроки горят. Пожалуйста, ответьте». Саша ответила что-то туманное про смену обстановки и творческий поиск, хотя на самом деле творческий поиск заключался в том, что она не могла перестать думать о соседе.

Вот и сейчас: она взяла карандаш, зажмурилась, попыталась представить обложку для нового любовного романа — что-то про пиратов и сокровища, закат, волны, парусник, — а рука сама собой вывела знакомый контур. Широкие плечи. Узкие бёдра. Линия пресса, уходящая под ремень джинсов. Татуировка-соты на предплечье.

Саша открыла глаза и застонала.

— Опять, — прошептала она. — Опять ты.

Она вырвала лист, скомкала и швырнула в угол, где уже лежали три таких же комка. Четыре рисунка за одно утро. Четыре! И все — он. Со спины, в профиль, у колодца, с дымáрем в руках. Она не рисовала лица — не решалась, — но по развороту плеч и так было ясно, кто это.

Она встала, прошлась по комнате. Остановилась у окна. Ромы видно не было — он работал на дальнем конце пасеки, только разноцветные ульи желтели и синели среди травы, как пряничные домики из сказки. Пчёлы гудели. Солнце плавило воздух. В доме напротив было открыто окно, и ветер трепал занавеску.

Взять себя в руки. Просто взять себя в руки. У неё парень. У неё планы на осень. У неё кольцо в кармане пиджака, которое она пока не готова надеть, но которое уже куплено — за неё, без неё, — и это нужно обдумать. Это важно. Это её жизнь.

Но вместо этого она думала о том, как Рома сказал: «Ты осторожничаешь». И о том, что никто и никогда не говорил ей таких слов. Артур хвалил её, когда она делала то, что он считал правильным. Мама хвалила, когда она соответствовала ожиданиям. А этот человек, которого она знала третий день, увидел её страх. Увидел и назвал по имени.

— Так, всё, — сказала она вслух. — Иду в магазин. Мне нужен нормальный завтрак. И людное место. И, возможно, та самая коза — для моральной поддержки.

Она вышла на крыльцо и замерла.

У забора стоял мотоцикл. Старый «Урал» с коляской, покрытый пылью и ржавчиной, но, судя по звуку мотора — ровному, сытому урчанию, — вполне живой. Рома сидел в седле, засунув руки в карманы джинсов, и смотрел на неё. На этот раз он был в футболке — старой, выцветшей, с какой-то неразборчивой надписью, — и Саша почувствовала что-то вроде разочарования. И тут же разозлилась на себя за это.

— В сельпо? — спросил он вместо приветствия.

— С чего ты взял?

— Ты вчера ходила. И позавчера. У тебя маршрут уже протоптан. Садись, подвезу.

— Я пешком.

— В такую жару? Опять дурацкая идея.

— Мои идеи — не дурацкие. Они... оригинальные.

— Оригинальные — это когда ты на мотоцикле едешь, а не пешком. Садись, чего ты ломаешься.

Саша хотела отказаться. Правда хотела. Но солнце уже припекало так, что даже мысль о пешей прогулке вызывала дурноту. К тому же, если она откажется, он подумает, что она его боится. А она не боится. Она вообще ничего не боится. Кроме, разве что, собственных рисунков, собственных чувств и вот этой дурацкой ямочки у него на щеке, которая появлялась каждый раз, когда он усмехался.

— Ладно, — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. — Но только до магазина.

— Само собой. Не в Москву же.

Она забралась в коляску — на сиденье лежал старый плед, пахнущий бензином и мёдом, — и мотоцикл тронулся. Ветер ударил в лицо, трепал волосы, заставил зажмуриться. Дорога убегала под колёса — пыльная, ухабистая, с редкими островками подорожника. Мелькали заборы, яблони, покосившиеся ворота. Где-то залаяла собака. Где-то замычала корова. Саша держалась за край коляски и чувствовала, как внутри что-то отпускает. Может, от скорости. Может, от ветра. Может, от того, что рядом с ней сидел человек, который не задавал лишних вопросов.

У магазина она слезла, отряхнула пыль с сарафана. Рома заглушил мотор.

— Я быстро, — сказала она.

— Я подожду. Мне всё равно в ту сторону.

В сельпо было прохладно и пусто. Бабы Нюры не было — видимо, у неё сегодня выходной, — а за прилавком стояла Катя. Увидев Сашу, она улыбнулась — вежливо, сдержанно.

— Доброе утро. Что-то забыли вчера?

— Чай кончился, — сказала Саша. — И сыр есть?

— Есть. Свежий, местный. Соседка делает.

Катя достала с полки головку сыра в марле, взвесила, завернула в бумагу. Двигалась она ловко, привычно — видно, что не первый год за прилавком.

— Я смотрю, вы с Ромой подружились, — сказала она, не поднимая глаз. — Он вас на мотоцикле привёз.

— Он просто мимо проезжал.

— Да, он часто мимо проезжает. Вообще Рома — человек щедрый. Всем помогает. Кому чемодан донести, кому крышу починить, кому сердце разбить, — она наконец подняла глаза, и в них мелькнуло что-то острое. — Шучу. Не обращайте внимания.

Саша взяла сыр и чай, расплатилась. Уже у двери она обернулась:

— Катя, а вы давно его знаете?

— С детства. Мы выросли вместе. Он, я и Лиза — его невеста. Мы втроём всё время проводили. Пока она не уехала.

— Он говорил.

— Говорил? — Катя чуть приподняла бровь. — Значит, вы уже ближе, чем я думала. Он обычно ни с кем не говорит о Лизе. Вообще ни с кем. Вы, наверное, особенная.

И улыбнулась — так, что Саше захотелось немедленно выйти на воздух.

На обратном пути они ехали молча. Мотоцикл тарахтел, ветер гудел в ушах. Саша смотрела на мелькающие яблони и думала о словах Кати. «Мы втроём всё время проводили». «Вы, наверное, особенная». Это было сказано так, будто Саша — временное явление. Очередная городская дурочка, которая приехала, покрутится и уедет. А Катя останется. Как всегда оставалась.

— О чём задумалась? — спросил Рома, перекрикивая мо-

тор.

— О сыре.

— Врёшь.

— О сыре и о том, почему некоторые люди говорят одно, а имеют в виду другое.

— Это ты про Катю?

Саша вздрогнула. Он что, мысли читает?

— С чего ты взял?

— Ты вышла из магазина с таким лицом, будто тебе лимон подсунули вместо сыра. Катя — она... умеет. Словами.

— Умеет что?

— Делать больно. Не специально. Просто у неё такая манера.

— Ты её хорошо знаешь?

— С детства, — он пожал плечами. — Она хорошая. Просто...

— Просто что?

— Просто ей кажется, что ей все должны. За то, что она хорошая.

Саша замолчала. Он сформулировал то, что она сама почувствовала, но не могла выразить словами. Катя действительно вела себя так, будто весь мир у неё в долгу. И особенно — Рома.

Они подъехали к дому. Саша выбралась из коляски, поправила сарафан. Рома заглушил мотор и вдруг сказал:

— Я сегодня мёд качаю. Первый сбор. Помощь нужна.

— Я не умею.

— Я научу. Ты же художница. У тебя руки ловкие. Должны быть.

Саша хотела сказать «нет». У неё на языке уже вертелось «нет», оно было правильным, безопасным, ожидаемым. Но вместо этого она услышала собственный голос:

— Во сколько?

— После обеда. Как жара спадёт.

— Я приду.

Он кивнул и завёл мотор. Саша зашла в дом, положила сыр и чай на стол и замерла. Она только что согласилась. Сама. Добровольно. Без давления.

— Ты с ума сошла, — сказала она себе. — Ты же решила держаться от него подальше.

Но отступать было поздно.

После обеда жара действительно спала. Солнце уже не палило, а мягко золотило траву и яблони. Пчёлы гудели ровно, успокаивающе. Саша надела закрытую футболку, собрала волосы в хвост и пошла через поле.

Рома ждал её у медогонки — блестящего агрегата с ручкой, похожего на огромную кастрюлю на ножках. Рядом стояли вёдра, ножи, тазы. Пахло воском и мёдом — так густо, что у Саши закружилась голова.

— Держи, — он протянул ей защитную сетку. — Пчёлы сегодня мирные, но бережёного бог бережёт.

Саша натянула сетку. Через неё мир стал чуть размытым,

как сквозь тюль. Рома взял дымарь, подымил на улей, открыл крышку. Внутри кипела жизнь: соты, пчёлы, расплод, золотой мёд, светящийся в ячейках.

— Смотри, — сказал он. — Сначала распечатываем соты. Видишь восковую плёнку? Её нужно срезать. Вот нож.

Саша взяла нож. Руки дрожали — она боялась испортить соты, боялась, что пчёлы налетят, боялась, что он стоит слишком близко. Он заметил её дрожь и вдруг накрыл её руку своей. Его ладонь была горячей и шершавой.

— Плавно. Не дави. Воск мягкий. Как масло.

Он провёл её рукой по соту — и воск сошёл ровной стружкой. Пахнуло мёдом. Саша замерла. Его пальцы всё ещё лежали на её запястье.

— Поняла?

— Поняла, — выдохнула она.

Он отпустил её руку. Отошёл к другому улью. Саша перевела дух. Надо было сосредоточиться на работе. Просто срезать воск. Просто не думать о нём.

Через час она освоилась. Нож больше не дрожал, движения стали увереннее. Рома хвалил её редко, но метко: «Нормально», «Сойдёт», «Лучше, чем я в первый раз». Для него это был верх одобрения.

Потом они крутили медогонку. Рома вращал ручку, Саша подставляла ведро. Мёд тёк густой, золотой струёй, и запах стоял такой, что хотелось смеяться. Или плакать. Или и то, и другое.

— Устала? — спросил он.

— Немного.

— Тогда перерыв.

Они сели под старой яблоней, что росла на краю пасеки. Трава здесь была примята — видно, Рома часто здесь сидел. Он достал откуда-то две бутылки лимонада — стеклянные, старого образца — и протянул одну Саше.

— Премия за труд.

Саша отпила. Лимонад был кисло-сладкий, с пузырьками, ледяной — видимо, из погреба. Она закрыла глаза от удовольствия.

— Вкусно?

— Очень.

— Сам делал. Из лимонов и мяты. Бабушкин рецепт.

— Ты и лимонад умеешь?

— Я много что умею. Просто не всё показываю.

Он откинулся на спину, закинул руки за голову и уставился в небо. Саша смотрела на него украдкой. На то, как ветер шевелит его волосы. На то, как солнце золотит его плечи. На то, как татуировка-соты темнеет на загорелой коже.

— Можно вопрос? — сказала она.

— Валяй.

— Почему ты вернулся в деревню? После спорта. После всего. Почему не остался в городе?

Он помолчал. Потом ответил, глядя в небо:

— Потому что в городе я был чужим. Везде. В сборной

— «деревенщина». В институте — «спортсмен-недоучка». С Лизой — «слишком сложный». А здесь... здесь я просто Рома. Пчёлы не спрашивают, сколько у меня медалей. Им важно, чтобы я был спокойный и не дёргался.

— Но ты же мог уехать. Начать заново где-то ещё.

— Не мог. Я не умею начинать заново. Я умею только возвращаться. Сюда, — он обвёл рукой пасеку, яблони, поле. — Это моё. Единственное, что у меня есть.

Саша хотела сказать: «Это неправда. У тебя есть руки, которые умеют всё. У тебя есть мёд, который берёт первые места. У тебя есть...» — но замолчала. Потому что чуть не сказала «есть я».

Вместо этого она спросила:

— А Лиза? Ты её до сих пор любишь?

Он повернул голову. Посмотрел на неё — долго, внимательно.

— Я её не любил. Я любил образ. Картинку. То, что у всех должно быть. А когда картинка разбилась, оказалось, что внутри ничего нет. Пусто.

— Совсем ничего?

— Совсем. Было больно, пока я это понял. А потом стало легко.

Он снова замолчал. Саша крутила в руках бутылку с лимонадом и чувствовала, как внутри что-то переворачивается. Он говорил о Лизе — а ей казалось, что он говорит о ней самой. О картинке, которую она строила с Артуром. О пу-

стоте внутри этой картинки.

— У меня тоже, — сказала она тихо. — Картинка. Парень, свадьба, всё правильно. Только внутри пусто.

— Зачем ты тогда с ним?

— Потому что он хороший. Потому что все говорят, что он хороший. Потому что я два года пыталась себя убедить.

— А сейчас?

— Сейчас я перестала убеждать. И мне страшно.

Он сел, обхватил колени руками. Посмотрел на неё.

— Знаешь, что я понял за эти три года? Страшно — это нормально. Ненормально — когда не страшно. Когда всё равно.

— Мне не всё равно.

— Я вижу. Поэтому ты здесь.

Между ними повисло молчание. Тёплое, густое, как мёд. Солнце клонилось к закату. Пчёлы возвращались в ульи. Где-то далеко лаяла собака.

— Мне пора, — сказала Саша и поднялась.

— Саша.

— Что?

— Ничего. Спасибо за помощь.

Она кивнула и пошла к дому. Каждый шаг давался с трудом, как будто ноги не хотели уходить. Она заставила себя не оборачиваться. Дошла до калитки. Открыла. Закрыла. Прислонилась спиной к забору.

Сердце колотилось.

Она зашла в дом. Достала диктофон.

— День третий. Я помогала ему качать мёд. Он сказал, что не умеет начинать заново. Что я здесь, потому что мне не всё равно. Он прав. Мне не всё равно. И это — самое страшное.

Она выключила диктофон. Посмотрела на артбук, выглядывающий из-под матраса. Достала его. Открыла чистую страницу. Взяла уголь.

Через двадцать минут на листе был он. Сидящий под яблоней, с бутылкой лимонада в руке. Лица она опять не нарисовала — только силуэт. Но теперь он был ближе. Реальнее. Как будто она наконец разрешила себе его увидеть.

Она убрала артбук. Легла в кровать. Закрыла глаза.

За окном гудели пчёлы. Пахло мёдом и яблоками. И где-то далеко, в старом саду, качалась ветка яблони, хотя ветра не было.

Утром на крыльце её ждала баночка мёда. Светлого, прозрачного, с золотистым отливом. И записка:

«Липовый. Свежий. Р.»

Саша улыбнулась, взяла баночку — и тут заметила, что в углу крыльца, у самых перил, что-то лежит. Маленькое, тёмное.

Она наклонилась.

Это была пчела. Мёртвая. И рядом с ней — сложенный вчетверо листок.

«Привет, соседка. Мёд — это мило. Но ты же понимаешь, что ты здесь временно? Он всех спасает. Это его работа. Не

принимай на свой счёт. К.»

Саша стояла на крыльце, сжимая в одной руке банку мёда, в другой — записку, и смотрела на мёртвую пчелу. Внутри что-то холодное поднималось от живота к горлу.

Значит, Катя не ограничилась фотографией. Значит, она следила за ней. Знала, когда Рома приносит мёд. Знала, что Саша была на пасеке. Знала всё.

И в этот момент в дверь постучали.

Глава 4. Дед Аким и чужая тень

Стук в дверь прозвучал негромко, но Саша вздрогнула так, будто над ухом выстрелили. Она стояла посреди комнаты, всё ещё сжимая в одной руке банку мёда, а в другой — скомканную записку, и мысль, которая билась в голове последние несколько минут, была простой и неприятной: Катя следит за ней. Не просто «интересуется» и не просто «предупреждает по-соседски», а именно следит — знает, когда Рома приносит мёд, знает, что она была на пасеке, и, кажется, знает гораздо больше, чем говорит.

Стук в дверь прозвучал негромко, но Саша вздрогнула так, будто над ухом выстрелили. Она стояла посреди комнаты, всё ещё сжимая в одной руке банку мёда, а в другой — скомканную записку, и мысль, которая билась в голове последние несколько минут, была простой и неприятной: Катя следит за ней. Не просто «интересуется» и не просто «предупреждает по-соседски», а именно следит — знает, когда Рома приносит мёд, знает, что она была на пасеке, и, кажется, знает гораздо больше, чем говорит.Стук в дверь прозвучал негромко, но Саша вздрогнула так, будто над ухом выстрелили. Она стояла посреди комнаты, всё ещё сжимая в одной руке банку мёда, а в другой — скомканную записку, и мысль, которая билась в голове последние несколько минут, была простой и неприятной: Катя следит за ней. Не просто

«интересуется» и не просто «предупреждает по-соседски», а именно следит — знает, когда Рома приносит мёд, знает, что она была на пасеке, и, кажется, знает гораздо больше, чем говорит.

Стук повторился, уже громче и настойчивее.

— Саша! Открой, я знаю, что ты там!

Голос был женский, но не Катин — грубее, старше, с хрипотцой заядлой курильщицы. Саша выдохнула с облегчением, хотя облегчение было так себе: кто ещё мог явиться в такую рань? Она открыла дверь и увидела на пороге бабу Нюру — в том же платке с маками, с той же корзинкой, из которой теперь не доносилось ни звука, потому что петух, видимо, остался дома.

— Ну, слава те господи! — выпалила баба Нюра, переступая порог без приглашения и сразу заполняя собой всё пространство маленькой прихожей. — Я уж думала, случилось чего. Ты вчера в сельпо заходила, а потом как сквозь землю провалилась. Я сегодня с утра к Катьке зашла — она говорит, ты какая-то бледная была. Я и решила проверить, не заболела ли.

— Всё в порядке, — сказала Саша, отступая в комнату. — Просто работала.

— Работала она, — баба Нюра скептически оглядела комнату, заметила скомканные листы в углу, пустую банку из-под мёда на столе, разбросанные карандаши и выразительно поджала губы. — Ага, работала. А лицо такое, будто тебе

привидение явилось. Или, что хуже, Катька наговорила гадостей.

Саша хотела сказать «нет», но передумала. Почему-то захотелось рассказать хоть кому-нибудь — может быть, потому что баба Нюра была единственным человеком в этой деревне, кто не носил камня за пазухой.

— Баба Нюр, а вы Катю хорошо знаете?

— Катьку-то? — баба Нюра присела на табурет, поставила корзинку на пол и поправила платок, который сполз набок. — А что? Она тебе чего сказала?

— Ничего особенного. Просто она странная. Вроде улыбается, а вроде и нет. Вроде помогает, а вроде и... — Саша замялась, подбирая слово.

— А вроде и кол в спину, — закончила баба Нюра и вздохнула, да так тяжело, словно этот разговор она вела не в первый раз. — Знаю, Сашенька, всё знаю. Я ж тебе говорила: хозяйственная она. Чересчур хозяйственная. Всё-то у неё по полочкам, всё-то под контролем, а если что не по ней — так это целая трагедия вселенского масштаба. Она, знаешь, с детства такая. Как Ромка на неё не посмотрел — так и началось. Ты присядь, я тебе сейчас всё расскажу, а то будешь ходить и мучиться догадками.

Саша опустилась на соседний табурет, и баба Нюра, устроившись поудобнее, повела свой рассказ — неспешно, обстоятельно, с подробностями, которые копятся годами.

— Катька Сомова, она ведь здесь родилась и выросла, в

соседнем доме от Зориных. Они с Ромкой с пелёнок вместе — в одной песочнице играли, в одну школу ходили, за одной партой сидели. Она в него влюбилась ещё классе в пятом, а он — нет. Не то чтобы он её обижал или отталкивал, просто он в ней девушку никогда не видел. Она ему как сестра была, понимаешь? А ей этого мало. Ей всегда было мало. Она сначала ждала, что он одумается и посмотрит на неё по-другому. Ждала год, два, три — не посмотрел. Потом, когда Лиза появилась, Катька думала: ну, это ненадолго, городские — они все такие, поиграют и бросят. А когда Лиза правда ушла, вот тогда Катька решила: теперь-то мой черёд. Только Ромка — он не такой. Он если не любит, так не любит. Его не заставишь, хоть ты ему медом намажь, хоть на крыльце поселись. А она, дура, всё ждёт.

— А вы не пробовали с ней поговорить?

— Пробовала, — баба Нюра махнула рукой. — И я пробовала, и мать её пробовала, и даже дед Аким как-то раз словами увещевал. Бесполезно. Она слушает, кивает, а потом всё равно по-своему делает. Знаешь, есть такая порода людей: они добрые, пока всё идёт так, как они хотят. А если что-то не по их — тут уж берегись. Она не со зла, Сашенька, не подумай. Она от любви. Только любовь эта — как та пчела: жалит больно, а сама потом умирает.

— Она мне фотографию подкинула, — сказала Саша, решившись. — Ромы и Лизы. И записку, что он до сих пор её любит.

— Ох, змея подколодная! — баба Нюра всплеснула руками так, что корзинка подпрыгнула. — Я так и знала, я чувствовала! Ты Ромке-то сказала?

— Нет. Не хочу его в это втягивать. У него своих проблем хватает.

— И зря, между прочим. Он имеет полное право знать, что у него под боком творится. Но я тебя понимаю — ты человек новый, тебе неловко, ты не хочешь раздувать скандал. Это правильно, это по-взрослому. Только ты ему верь. Не фотографиям, не запискам, не Катькиным кружевам — ему. Он парень честный, я тебе как на духу говорю. Если что не так — он сам скажет, прямо в лицо. Он врать не умеет, пробовал в детстве — так краснел, что за версту видно было.

Саша улыбнулась, представив маленького Рому с пылающими ушами, и вдруг почувствовала, как внутри отпускает. Баба Нюра обладала удивительным даром — говорить о серьёзных вещах так, что они переставали казаться катастрофой. Может, дело было в её голосе, напоминающем воркование голубки, а может — в том, как она называла Катькины интриги «кружевами», словно речь шла о детских шалостях.

— А вы не расскажете мне про деда Акима? — спросила Саша, меняя тему. — Рома говорил, он раньше пасеку держал. И вы в автобусе упоминали, что он знает про легенду. Я хочу сходить к нему поговорить — может быть, он расскажет больше про Аню.

Баба Нюра задумчиво пожевала губу, и Саша уже научи-

лась распознавать этот жест: сейчас последует что-то важное, что нельзя выпалить с ходу.

— Дед Аким — это да. Он много чего знает, только не каждому рассказывает. Ты к нему с уважением подойди, без наскока, не как городские, которые привыкли ответы гуглить за две секунды. Он старый, ему под восемьдесят, но ум у него ясный, как у сорокалетнего. Живёт на отшибе, за пасекой, в старой избе — там ещё яблоня у крыльца, не промахнёшься, и пёс рыжий, Дымок, он хоть и ленивый, а чужих чует. Раньше дед Аким лучший пчеловод в районе был, его мёд в Москву возили, на выставки. А как здоровье сдало — он всё Ромке передал, и пасеку, и секреты свои, и даже дымарь тот самый, с которым ещё его дед ходил. Но не уехал никуда — сказал: «Здесь родился, здесь и помру, нечего меня из родной земли выковыривать». Так и живёт бобылём, только травы собирает да книжки читает.

— А про Аню он знает?

— Ох, Сашенька, — баба Нюра вздохнула, и вздох этот был долгим и каким-то особенно печальным. — Про Аню все знают. Да не все говорят. Двадцать лет прошло, а до сих пор как свежая рана — тронешь, и кровит. Ты уж сама с ним потолкуй. Может, тебе расскажет. Ты ж художница, у тебя душа тонкая, чувствительная. Он таких любит. Он вообще людей по душе выбирает, а не по прописке.

Она поднялась, подхватила корзинку и направилась к двери, но на пороге обернулась.

— Я пойду, у меня пироги сегодня, с яблоками, как раз поспели. Ты, если что, заходи — угощу и новости расскажу, у меня их всегда полная голова, как у сороки в гнезде. И про Катьку помни: не верь. Она не со зла — она от любви. Но это, знаешь ли, не оправдание. Любовь — она созидать должна, а не разрушать. Если твоя любовь приносит людям боль — значит, что-то с ней не так.

Дверь закрылась за ней, и Саша осталась одна в тишине, которая теперь казалась не гнетущей, а задумчивой. С минуту она стояла, глядя в окно на яблоню, ветви которой гнулись под тяжестью зелёных плодов, и переваривала услышанное. Потом решительно надела шляпу, взяла бутылку воды и вышла — ей нужно было познакомиться с дедом Акимом, и почему-то казалось, что откладывать этот разговор нельзя.

Дорога к его дому шла через поле, а потом — мимо пасеки, где Рома как раз возился с крайним ульем. Он стоял в своей неизменной сетчатой шляпе, с дыма́рем в одной руке и стамеской в другой, и выглядел при этом так, будто не работал, а священнодействовал. Увидев Сашу, он выпрямился и кивнул ей, как старой знакомой.

— Ты куда намылилась в такую жару? До вечера бы подождала, всё равно никуда твой дед не денется.

— К деду Акиму, — ответила Саша, останавливаясь. — Хочу поговорить с ним про легенду и про Аню.

Рома нахмурился и сдвинул шляпу на затылок, открывая взмокший лоб.

— Он тебе вряд ли расскажет, если честно. Я его знаю сколько лет — он эту тайну двадцать лет как могила хранит. Я сколько раз ни спрашивал, и по-хорошему, и настырно — молчит, только глазами сверкает. Он вообще из тех людей, которые если решили молчать, то хоть ты их пытай — не расколются.

— А ты сам во что веришь? В призрака или в то, что она на самом деле жива и просто уехала?

Он помолчал, снял шляпу совсем и вытер пот со лба тыльной стороной ладони.

— Я верю, что Аня была настоящая и что ей было по-настоящему больно. А всё остальное — это уже детали, которые, может, и не имеют значения. Я вообще не люблю гадать, я люблю знать. Факты, понимаешь? А когда фактов нет, то хотя бы понять — сердцем, что ли.

— А если нельзя понять сердцем?

— Тогда остаётся только ждать. Ждать и надеяться, что правда когда-нибудь всплывёт сама, как мёд из переполненных сот.

Он отвернулся к улью, давая понять, что разговор окончен, и Саша пошла дальше, чувствуя его взгляд где-то между лопаток.

Изба деда Акима стояла за пасекой, на пригорке, окружённая старыми яблонями, которым было, наверное, столько же лет, сколько их хозяину. Изба была маленькая и покосившаяся — казалось, что она держится исключительно на

честном слове и многолетней привычке не разваливаться, — но при этом ухоженная, с целым забором, с выцветшими занавесками на окнах и с горшками герани на крыльце. В палисаднике цвели бархатцы — оранжевые, жёлтые, бордовые, — и от них шёл такой густой пряный запах, что у Саши на секунду закружилась голова. Пахло ещё дымом и сушёными травами — где-то рядом явно топилась печка, несмотря на летнюю жару.

У входа, на старой лавке, сидел старик и смотрел куда-то поверх яблонь, туда, где поле упиралось в горизонт. Он был высокий и худой — кожа да кости, как говорила бабушка, — с копной седых волос, перехваченных на затылке резинкой в короткий хвост. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и они смотрели не на Сашу, а сквозь неё, как будто он видел что-то другое — может быть, прошлое, может быть, тех людей, которых давно не было рядом. Одет он был просто: выцветшая рубаха навыпуск, старые брюки с пузырями на коленях и калоши на босу ногу. Рядом с лавкой, растянувшись во всю длину, лежал огромный рыжий пёс и лениво стучал хвостом по пыли — размеренно, как метроном.

— Здравствуйте, — сказала Саша, останавливаясь у калитки. Голос её прозвучал громче, чем она рассчитывала, и пёс на секунду приоткрыл один глаз, но тут же закрыл обратно, потеряв интерес. — Я Саша, внучка Анны Степановны Мироновой. Можно к вам?

Дед Аким перевёл на неё взгляд, и что-то в его глазах

дрогнуло — не то воспоминание, не то узнавание.

— Анны Степановны? — переспросил он скрипучим, но приятным голосом, напоминавшим звук старого дерева, которое ещё помнит, как быть живым. — Ну-ка, ну-ка, подойди поближе, не маячь у забора, я не кусаюсь.

Саша открыла калитку, вошла и остановилась в нескольких шагах от лавки. Пёс поднял голову, обнюхал её ноги — видимо, проверил паспортный контроль — и снова улёгся, явно удовлетворённый результатом. Дед Аким разглядывал её долго, не стесняясь, как разглядывают старую фотографию, на которой вдруг проступили знакомые черты.

— Похожа, — сказал он наконец с какой-то задумчивой теплотой. — Глаза бабкины — такие же карие, с золотинкой, и так же смотрят: вроде на тебя, а вроде куда-то дальше. А нос дедов, упрямый. Я тебя ещё маленькую помню, ты на пасеку приходила с Анной Степановной. Лет пять тебе было, не больше. Ты тогда пчелу поймать хотела и в банку посадить, а я тебе сказал: «Пчела — не игрушка, она работница, отпусти её». Ты расплакалась в три ручья, но отпустила. А потом весь день рисовала эту пчелу — на листочках, на салфетках, даже на обоях в сенях, за что тебе от бабушки, помнится, влетело.

Саша улыбнулась, потому что эта история звучала очень правдоподобно, хотя сама она её совершенно не помнила.

— Я не помню ни пчелу, ни обои, — призналась она. — Но бабушка говорила, что я в детстве всем говорила, что ста-

ну художницей.

— Говорила, — подтвердил дед Аким. — И ведь стала. Анна Степановна тобой гордилась, она мне письма писала, ещё когда силы были. «Сашенька рисует, Сашенька в художку поступила, Сашенька в Москве теперь». Она тебя очень любила. Проходи в дом, Саша, чего на пороге стоять. Я чайник поставлю, и поговорим по-человечески, а не через забор, как соседские куры.

В избе было прохладно и сумеречно, и пахло так, как пахнет в домах старых людей, которые всю жизнь собирали травы и не доверяли аптекам: мятой, зверобоем, душицей, липовым цветом. Под потолком висели пучки сушёных растений, перетянутые бечёвкой, и от жары они источали густой успокаивающий аромат. На стенах — старые фотографии в деревянных рамках: пасека в прежние годы, дед Аким с женой — она улыбалась, он смотрел серьёзно, как часто бывает на старых снимках, — и ещё какие-то люди, незнакомые, с лицами, которые уже стёрлись из памяти. На столе стоял самовар, начищенный до блеска, и несколько чашек с отбитыми краями, которые явно помнили ещё те времена, когда чай пили с сахаром вприкуску.

Дед Аким разлил чай — крепкий, чёрный, пахнущий смородиновым листом — и подвинул Саше чашку. Тут же на столе стояла банка мёда, тёмного, почти коричневого, и Саша, не спрашивая, положила ложку в чай — жест, который в Москве показался бы фамильярным, но здесь был естествен-

ным, как дыхание.

— Ромкин мёд, — пояснил дед Аким, перехватив её взгляд. — Гречишный, прошлогодний. Он в прошлом году с этого улья собрал рекордный урожай, я уж думал, пчёлы на него обидятся за жадность, а они ничего — любят его. У парня талант, что тут скажешь. От отца передалось, да и от меня кое-что перепало, пока я его учил.

— Он сказал, что вы его научили.

— Я только показал пару приёмов, остальное он сам. У него руки золотые, и пчёл он чувствует так, как я в молодости уже не чувствовал — у меня тогда амбиций было больше, чем терпения, а у него наоборот. Жалко только, что душа у него до сих пор в синяках после той истории с Лизой. Он ведь три года один, как сыч. Никого к себе не подпускает — ни людей, ни чувства. Ты первая, с кем он заговорил по-человечески, а не про мёд и погоду.

Саша промолчала, чувствуя, как тепло от чая разливается по телу, и дед Аким, помолчав немного, посмотрел на неё поверх своей чашки — внимательно, изучающе.

— Ты ведь не просто так пришла, я же вижу. Про свечи хочешь спросить?

— Да, — кивнула Саша. — Баба Нюра рассказала легенду, когда я ещё в автобусе ехала. Но у меня такое чувство, что это не всё — что за легендой есть что-то ещё, какая-то правда, которую никто не рассказывает. Может быть, вы знаете эту правду?

Дед Аким поставил чашку на стол, откинулся на спинку стула и долго молчал, глядя не на Сашу, а куда-то в угол, где висели пучки мяты.

— Ну, слушай, — сказал он наконец. — Только учти: история длинная и невесёлая, без хэппи-энда, как в твоих книжках. Я тебе расскажу то, что знаю, а выводы делай сама — ты взрослая.

— Я никуда не тороплюсь, — сказала Саша и приготовилась слушать.

И дед Аким заговорил — негромко, размеренно, как рассказывают сказки на ночь, только сказка эта была настоящей, и оттого слушать её было ещё страшнее.

— Двадцать лет назад в Яблоневке жила девушка по имени Аня Орлова. Красивая — не той красотой, что в журналах печатают, а настоящей, тихой, как вода в колодце: смотришь и не видишь дна. Но глаза у неё были голодные — она всё ждала чего-то, всё смотрела на дорогу, будто кто-то должен был приехать и забрать её отсюда. Родители у неё были — не дай бог никому таких родителей: отец — тиран, который пил и распускал руки, а мать — тень при нём, запуганная до полусмерти, молчаливая. Они Аню замуж хотели выдать за местного, за сына председателя колхоза, чтобы породниться и укрепить положение в деревне. Аня не хотела — она вообще не хотела жить той жизнью, которую ей навязывали.

И однажды приехал к нам парень из города — то ли на практику, то ли на каникулы, сейчас уж никто точно не

вспомнит. Они встретились случайно, у той самой яблони, что на краю сада. Он рисовал — представляешь, какое совпадение? — а она проходила мимо и засмотрелась. Слово за слово — и пропали оба. Влюбились так, что никого вокруг не видели, как будто весь мир сжался до размеров этой яблони. Они встречались тайно, потому что родители Ани ни за что не одобрили бы городского — им нужен был свой, проверенный. И в конце концов они решили сбежать. Договорились: ночью, когда все уснут, она зажжёт три свечи на яблоне — условный знак, что она здесь и готова. Он придёт, и они уедут вместе.

— Но он не пришёл, — сказала Саша.

— Не пришёл. Она зажгла свечи и ждала до рассвета. Я видел её — я в ту ночь не спал, бессонница у меня уже тогда была, — она стояла у яблони в голубом платье, и слёзы текли по лицу, а она их не вытирала. А потом, когда небо посветлело, она просто встала и ушла. И больше её никто не видел. Родители искали, милиция искала — ни следа. Может, утопла. Может, уехала на первом же автобусе, как ты сейчас. Двадцать лет уже никто не знает.

— А парень? Что с ним стало?

— Уехал в тот же день. И никто не знает — испугался ли он, передумал ли, или родители не пустили. Тайна, Саша. Двадцать лет тайна.

Дед замолчал, и в избе стало тихо — только муха билась о стекло, да в печке потрескивали дрова. Саша смотрела на

свои руки и думала о том, как можно потерять друг друга из-за одной ночи. Из-за одного часа. Из-за того, что кто-то не пришёл, а кто-то не дождался.

— А свечи? — спросила она. — Вы видели их? Те, что загораются каждый год?

— Видел. Каждый год вижу. Собственными глазами, вот этими самыми, — он показал на свои прозрачные глаза. — Загораются ровно в полночь, горят час и гаснут. И тот, кто их зажигает, — это не призрак.

— А кто?

Дед Аким долго молчал, и Саша уже решила, что он не ответит. Но потом он поднял глаза и сказал — медленно, словно каждое слово давалось ему с трудом:

— А вот это, Сашенька, тебе лучше узнать самой. Приходи через четыре дня в полночь к старой яблоне — увидишь всё своими глазами. Только никому не говори, и Роме не говори. Он не верит в легенды, и пусть пока не верит. Иногда неверие — это защита.

— Это опасно? То, что я увижу?

— Нет. Это не опасно. Это просто больно. Но иногда полезно, потому что чужая боль помогает понять свою собственную. Ты ведь для этого сюда приехала? Не просто отдохнуть — понять?

Саша не ответила, но дед Аким, кажется, и не ждал ответа. Он допил чай, поднялся и проводил её до калитки. Пёс Дымок так и не проснулся — только хвост дёргался во сне.

— Приходи, — повторил дед Аким на прощание. — И помни: свечи гаснут, а жизнь продолжается. Не жди слишком долго.

Уже когда Саша отошла на несколько шагов, он добавил странную фразу, которая потом долго не выходила у неё из головы:

— Ты на неё похожа, кстати. На Аню. Не внешне — внутренне. Та же жадность до жизни, та же готовность ждать. Та же привычка прятать страх за улыбкой. Только ты, Саша, не жди слишком долго — свечи гаснут, а вместе с ними гаснет то, что могло бы быть, но не случилось.

Она возвращалась через поле, когда солнце уже клонилось к закату и тени от яблонь стали длинными, почти бесконечными. В голове крутились обрывки разговора: «Я видел её в ту ночь», «она стояла и плакала», «приходи, увидишь». Что такого дед Аким хотел ей показать? И почему он сказал, что это не призрак? Если не призрак — тогда кто зажигает свечи двадцать лет подряд?

У самого дома её ждала Катя. Она стояла, прислонившись плечом к забору, и в пальцах у неё крутилась ромашка — она отрывала лепестки один за другим и бросала их в траву, как будто гадала на чью-то жизнь.

— Добрый вечер, соседка, — сказала она, и улыбка её была приветливой, но какой-то слишком старательной, словно она репетировала её перед зеркалом. — Я просто мимо проходила, дай, думаю, загляну, узнаю, как ты устроилась, не

обижает ли кто.

— Всё нормально, спасибо, — сказала Саша, останавливаясь.

— А я смотрю, ты с дедом Акимом подружилась, в гости к нему ходила. Он тебе рассказал про Аню? Легенду свою знаменитую?

Саша замерла. Откуда Катя знала, что она была у деда Акима? Неужели следила за ней от самого дома — через поле, мимо пасеки, до самой избы? Или просто увидела, как Саша возвращается, и сложила два и два? В любом случае, это было неприятно — как будто за ней наблюдали через невидимую камеру.

— Немного, — ответила она осторожно. — Он интересный человек.

— Он хороший, — согласилась Катя, продолжая обрывать лепестки. — Только любит приукрашивать, особенно когда слушатель благодарный. Ты ему не всё верь. Легенды — они на то и легенды, чтобы пугать городских девушек и заставлять их искать приключений на свою голову.

— А ты сама веришь? В призрака, в свечи, в тень?

Катя подняла глаза, и в них мелькнуло что-то острое — может быть, зависть, может быть, злость, а может, и то и другое сразу.

— Я верю в то, что вижу собственными глазами, — сказала она. — А вижу я пока только одно: ты здесь временно, Саша. Рома — человек сложный, он как та пчела: его снача-

ла нужно понять, приручить, узнать все его привычки. Ему нужна та, кто останется рядом навсегда, а не та, кто поиграет в деревенскую жизнь и уедет обратно в свою Москву, к своему жениху и своей правильной жизни. Я его знаю всю жизнь, а ты — десять дней. Понимаешь разницу?

— Я понимаю только то, что ты меня зачем-то предупреждаешь, хотя я тебя об этом не просила, — сказала Саша, чувствуя, как внутри закипает раздражение. — Если тебе есть что сказать — скажи прямо. Если нет — давай закроем эту тему.

Катя улыбнулась ещё шире — и от этой улыбки у Саши мурашки побежали по спине.

— Ничего, — сказала Катя, отталкиваясь от забора. — Это я так, к слову. Ладно, пойду, мать ждёт, у неё сегодня давление. Ты, кстати, в сельпо завтра заходи, там пироги будут с яблоками, баба Нюра обещала испечь. У неё пироги — объедение, за уши не оттащишь.

Она развернулась и пошла по дороге, а Саша стояла у калитки и смотрела ей вслед, пока её фигура не скрылась за поворотом. Потом она вошла в дом, закрыла дверь и прислонилась спиной к косяку. Сердце колотилось. Катя не угрожала — но от её слов оставался неприятный осадок, как от воды, в которую подмешали что-то горькое.

Ночью Саша долго не могла уснуть. Она ворочалась в кровати, смотрела в потолок, где старая трещина, похожая на дракона, казалась сегодня особенно зловещей, и слушала,

как за окном стрекочут кузнечики и где-то далеко ухает сова. Ей снилась — или это был не сон? — та самая яблоня. Старая, кривая, с чёрным дуплом в стволе. В дупле горели три свечи, и кто-то стоял рядом — женская фигура, размытая, как тень на воде. Она повернулась к Саше, и та увидела своё собственное лицо — бледное, с тёмными кругами под глазами, с застывшим на губах вопросом. «Не жди слишком долго», — сказало лицо, и свечи погасли.

Проснулась Саша в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем. За окном занимался рассвет — нежно-розовый, полный птичьего гомона, и это было так прекрасно и так не вязалось с её тревогой, что она чуть не рассмеялась.

На крыльце её ждала баночка мёда — на этот раз светлого, почти прозрачного, с золотистым отливом, — и записка знакомым неровным почерком: «Донниковый. Последний в этом году. Цени. Р.»

Саша взяла баночку, вдохнула запах — тонкий, цветочный, чуть ванильный — и улыбнулась, хотя настроение было неспокойным. Никаких мёртвых пчёл сегодня не было, и записок с предупреждениями тоже. Может быть, Катя решила, что разговор у забора всё расставил по местам? Или просто взяла паузу?

А потом Саша заметила кое-что ещё — на старой яблоне, что росла на краю сада, в той стороне, где начинался заброшенный участок. С ветки свисали три маленьких предмета, привязанных бечёвкой. Саша прищурилась, подошла ближе

— и сердце пропустило удар.

Три свечных огарка. Старых, оплавленных, с каплями воска, который запёкся прямо на бечёвке. Они висели аккуратно, как ёлочные игрушки, и ветер слегка покачивал их из стороны в сторону. А под яблоней, придавленный камешком, лежал ещё один сложенный листок.

Саша наклонилась, развернула его и прочитала:

«До ночи свечей — четыре дня. Ты ведь придёшь, правда? Я знаю, что придёшь. К.»

Саша скомкала листок и сунула в карман, потому что ей не хотелось даже держать его в руках. Значит, Катя не отступила. Значит, она хочет, чтобы Саша пришла к старой яблоне в ту самую ночь. Но зачем? Что она задумала — очередную ловушку, очередное представление?

Ответа не было, и это пугало больше всего. Но Саша твёрдо знала одно: через четыре дня она пойдёт к яблоне. Не потому что Катя её позвала, а потому что дед Аким сказал: «Приходи. Увидишь». И она должна увидеть — чего бы это ни стоило.

Глава 5. Гроза

Дни до ночи свечей тянулись медленно, как мёд с ложки, но именно сейчас, как ни странно, работа наконец сдвинулась с мёртвой точки.

Саша сама не поняла, как это произошло. Она просто села за стол во вторник утром с твёрдым намерением нарисовать хоть что-нибудь для заказчика — не потому что горели сроки, а потому что ей вдруг захотелось работать. Захотелось по-настоящему, как раньше, когда она могла просидеть за этюдником до рассвета и не заметить, что наступило утро. Она открыла ноутбук, перечитала техзадание — приключенческий роман, морские сражения, пираты, сундук с сокровищами на необитаемом острове — и вдруг поняла, что видит эту картинку. Не просто видит, а чувствует: как закатное солнце отражается в воде, как ветер надувает паруса, как старый пиратский флаг хлопает на ветру, потрёпанный и гордый. Она взяла карандаш и начала рисовать — быстро, жадно, пока видение не ускользнуло. Через час на листе был готов набросок композиции: море, парусник, сундук на переднем плане и две фигуры — мужская и женская, — стоящие плечом к плечу на носу корабля. Ещё через час она перенесла набросок на чистовик и начала работать с цветом. Охра, кармин, лазурь, умбра — она смешивала краски уверенными движениями, не боясь ошибиться, и впервые за долгое время

ей нравилось то, что получается. Не «нежно и пастельно», как требовали предыдущие заказчики, а ярко, густо, с характером — так, как она рисовала когда-то в художественной школе, пока ей не объяснили, что «коммерческая иллюстрация должна быть приглаженной». Когда она отложила кисть и посмотрела на готовый эскиз, то почувствовала что-то, чего не чувствовала уже много месяцев, — гордость. Не зазнайство, не самолюбование, а спокойную, тёплую гордость человека, который сделал свою работу хорошо. Она сфотографировала эскиз на телефон и отправила заказчику. Через час пришёл ответ — короткий, но оттого не менее ценный: «Александра, это именно то, что мы хотели! Срочно продолжайте, ждём финальный вариант!» Саша улыбнулась и отложила телефон. Кажется, творческий кризис, который она объясняла сменой обстановки, на самом деле был кризисом не творческим, а личным.

С Ромой они виделись каждый день — мельком, через забор, на пасеке, у колодца. Он не навязывался, не задавал лишних вопросов, но всегда оказывался рядом именно в тот момент, когда у неё что-то падало, ломалось или не получалось. Как будто чувствовал. Как будто у него был встроенный радар на её мелкие бытовые катастрофы. Во вторник утром он снова помогал ей с ведром, в среду — чинил ставню, а в четверг утром она нашла на крыльце букетик полевых цветов — ромашки, васильки, какие-то лиловые колокольчики, — перевязанный травинкой. Записки не было, но Саша и так

знала, от кого они. Вечером того же дня он пришёл с хлебом — ещё тёплым, завёрнутым в чистое льняное полотенце.

— Мать пекла, просила передать, — сказал он, отводя взгляд куда-то в сторону, на линию горизонта. — А то ты на одних сушках сидишь, как монашка, доведёшь себя до истощения. Она у меня в Малиновке живёт, мы редко видимся, но хлеб она печёт — лучший в округе, это все признают, даже баба Нюра, а она своих конкурентов ни в жизнь не похвалит просто так.

Саша приняла хлеб, поблагодарила и не стала расспрашивать дальше, чувствуя, что тема матери — как оголённый провод: тронешь, ударит током. Она просто ушла в дом, а вечером съела полкаравая, запивая чаем со смородиновым листом и глядя на букетик в треснувшей кружке на подоконнике. В пятницу он оставил на крыльце кулёк с мятными конфетами и запиской: «Подумал, что тебе нужно что-то послаще моей физиономии. Р.» Саша фыркнула, развернула конфету и сунула в рот, чувствуя, как мята растекается по языку холодком.

В субботу, тринадцатого числа, всё изменилось.

Утро началось с духоты. Саша проснулась рано и сразу почувствовала: что-то не так. Воздух был плотным, как будто на грудь положили тяжёлое одеяло. Она вышла на крыльцо и замерла: небо было не голубым, а белёсым, выцветшим, как старая простыня, а солнце висело в дымке — мутное, размытое. Пчёлы молчали, и это было самым тревожным при-

знаком: за всё время, что она здесь жила, пчёлы не замолкали ни разу, а сегодня над пасекой стояла тишина — густая, вязкая, неестественная, как будто всё живое затаилось.

— К грозе, — сказала она вслух и подумала о Роме: знает ли он? Готов ли? Впрочем, глупый вопрос — конечно, знает.

День тянулся медленно и тревожно. Саша работала над финальным вариантом обложки, и работа спорилась, но мысли всё время возвращались к завтрашней ночи — той самой, когда по легенде загораются свечи. В перерывах она читала бабушкин дневник и наткнулась на запись, от которой у неё перехватило дыхание. «Тринадцатое июля, девяносто восьмой год. Сегодня душно, как перед грозой. Яблоки падают зелёные, недозрелые. Пчёлы беспокоятся. Завтра та самая ночь, когда на старой яблоне загораются свечи. Я не пойду смотреть — боюсь. Но Аня, наверное, пошла бы. Она ничего не боялась, бедная девочка». Саша перечитала последнюю фразу дважды: «Аня, наверное, пошла бы». Значит, бабушка знала Аню. Знала лично, а не просто из легенд.

К полудню небо стало свинцовым, тяжёлым. Воздух сгустился, стал электрическим — у Саши покалывало кончики пальцев. Она вышла на крыльцо и увидела Рому, который быстро обходил пасеку, проверяя крепления на ульях, заколачивая доски, убирая инвентарь под навес. Он двигался спокойно и уверенно, но по тому, как хмурились его брови и как он то и дело поглядывал на горизонт, Саша поняла: гроза будет сильная.

— Ты бы в дом шла, — крикнул он, заметив её. — Через час начнётся, а у меня ещё дел полно. Не хочу, чтобы тебя тут ветром сдуло — ты лёгкая, как пушинка, унесёт в Малиновку, потом ищи тебя по полям.

— Я не лёгкая! — возмутилась Саша, но послушно ушла в дом и закрыла окна.

Гроза пришла в пятом часу вечера — яростная, какой не ждали даже местные. Первая молния расколола небо над лесом — белая, ветвистая. Гром ударил так, что задребезжали стёкла. А потом хлынул дождь — не каплями, а сплошной стеной воды, как будто небо прорвало. Саша стояла у окна и смотрела, как потоки заливают сад, как гнутся под ветром яблони, как старая яблоня на краю сада мотает ветвями. Огарки, которые повесила Катя, сорвало ветром и унесло в поле. Где-то там, на пасеке, Рома боролся с ветром, и Саша вдруг поняла, что не может просто сидеть и ждать.

Она натянула старую бабушкину штормовку, которая висела в сенях и пахла нафталином и временем, сунула ноги в резиновые сапоги и выбежала под дождь. Ветер ударил в лицо, вырвал капюшон. Саша побежала через поле — туда, где сквозь пелену ливня смутно виднелись ульи и одинокая фигура, пытавшаяся удержать брезентовый навес.

— Рома! — закричала она. — Я помогу!

Он обернулся, увидел её — мокрую насквозь, с прилипшими к лицу волосами, в дурацкой штормовке не по размеру, — и на секунду замер, а потом расхохотался, запрокинув

голову.

— Ты с ума сошла! Тут молнии, Саша, ты что, совсем инстинкта самосохранения лишена? В такую погоду даже собаки по будкам сидят, а ты через поле бежишь!

— Я хотела помочь! Я не могла просто сидеть и смотреть, как ты тут один под ливнем!

— Помощница, — он схватил её за руку и втащил под навес. Они стояли вдвоём, прижавшись плечами, тяжело дыша. С её волос текла вода прямо на доски, штормовка насквозь промокла. — Всё, что тебе нужно было сделать, это сидеть дома и не высовываться. Ульи я закрепил, навес почти держится, а ты сейчас воспаление лёгких схватишь. И что я потом скажу? Что не углядел за внучкой Анны Степановны?

— Ничего не надо говорить. Я взрослый человек, сама за себя отвечаю. И вообще — я не чья-то внучка, я просто Саша.

Он замолчал, глядя на неё. С неё текла вода, волосы облепили лицо, губы дрожали то ли от холода, то ли от напряжения, но смотрела она прямо, не отводя взгляда. И в этом взгляде было что-то такое, от чего у Ромы что-то дрогнуло в лице.

— Ладно, Саша, которая просто Саша, — сказал он наконец, и в голосе его появилась мягкость, которой не было раньше. — Стоять здесь всё равно бессмысленно. Пошли в дом, пока ты не превратилась в сосульку. У меня печка топится, чай есть. И сухая одежда найдётся.

В доме было тепло и пахло воском, дымом и деревом. Саша стояла у порога, чувствуя себя неловко, как случайно забредший в избу промокший воробей. Он протянул ей стопку вещей — рубашку и сухие джинсы — и отвернулся, пока она переодевалась за печкой. Рубашка была огромной, до середины бедра, и пахла им: дымом, мёдом, деревом и чем-то ещё, что она уже начала узнавать. Джинсы она закатала до колен и затянула ремнём. Когда она вышла из-за печки, он уже разливал чай по кружкам.

— Садись. Чай с мятой и липой — от простуды лучшее средство, бабушка моя всегда так лечила.

Они сели у печки, и Саша протянула руки к огню, чувствуя, как дрожь понемногу уходит. За окном грохотало, но здесь, у огня, было удивительно спокойно.

— Почему ты мне помогаешь? — спросила она вдруг, глядя в огонь. — Я тебе никто. Чужая. Городская. Приехала на пару недель и уеду. Зачем тебе это всё — ведро, ставни, хлеб, цветы, конфеты, теперь ещё и гроза?

Он помолчал, помешивая угли кочергой.

— Потому что ты настоящая. Ты не притворяешься. Ты можешь сколько угодно говорить, что у тебя всё в порядке, но я же вижу: у тебя внутри всё болит. Ты приехала сюда не просто так — ты сбежала. От чего — не моё дело. Но пока ты здесь, я хочу, чтобы тебе было хорошо.

— Я не сбежала, — сказала Саша, но голос её прозвучал неуверенно. — Я просто думаю.

— О чём?

— О парне. О том, что он купил кольцо, не спросив меня. О том, что он уже всё распланировал, а я в этих планах — как предмет мебели. О том, что я должна быть счастлива, а на самом деле мне хочется выть.

— А чего ты хочешь?

— Рисовать так, как чувствую. Чтобы меня спрашивали, а не ставили перед фактом. Чтобы рядом был человек, который видит меня, а не картинку в своей голове. Хочу быть собой. Просто собой.

— Ты не сломана, — сказал он твёрдо. — Ты просто устала притворяться удобной, правильной, нормальной. А ты — неудобная. И я — неудобный. И это нормально. Удобные люди — они как магазинный мёд: сладко, красиво, но без души. А ты — как лесной: горьковатый, терпкий, но настоящий.

Саша подняла на него глаза, и их взгляды встретились. За окном полыхнула молния, осветив его лицо — серьёзное, без тени привычной усмешки. И что-то в воздухе между ними сдвинулось.

— Знаешь, — сказал он вдруг, — я тебе кое-что покажу. Только не смейся.

Он встал, подошёл к старому комоду у стены, выдвинул нижний ящик и достал оттуда потрёпанную тетрадь в клеёнчатой обложке. Вернулся к печке, сел и протянул тетрадь Саше.

— Что это?

— Открой.

Она открыла. Страницы были заполнены неровным почерком — стихи. Десятки стихов. О лете, о пчёлах, о дожде, о тишине. И о любви — той, что болит, той, что не случается, той, что остаётся только на бумаге. Саша читала и чувствовала, как внутри что-то переворачивается. Это было красиво. Настоящее.

— Ты пишешь стихи? — спросила она, поднимая глаза.

— Пишу, — он смотрел в огонь, и на скулах у него проступил румянец. — Никому не показываю. Даже дед Аким не знает. Ты первая.

— Почему я?

— Потому что ты тоже прячешься. Я же вижу: ты рисуешь так, будто боишься, что кто-то увидит. Твои рисунки — они настоящие, а ты их прячешь, как будто стыдишься. Я тоже прячу. Может, хватит уже? Честный обмен.

Саша почувствовала, как к горлу подкатывает ком. Она смотрела на него — на этого угрюмого пасечника с татуировкой в виде сот, который чинил ставни и носил конфеты, который боялся, что его «слишком сильно» кого-то задушит, который писал стихи втайне от всех, — и вдруг поняла, что пропала. Окончательно. Бесповоротно.

— Можно, я тебя поцелую? — спросила она.

Он вздрогнул, а потом улыбнулся, и ямочка на правой щеке стала глубже.

— Ты меня опередила. Я хотел спросить первым.

— Ты уже спрашивал. На пасеке. Я тогда не ответила.

— А сейчас?

— Сейчас отвечаю.

Она подалась вперёд, и их губы встретились. Поцелуй был нежным и осторожным, как будто они оба боялись спугнуть то хрупкое, что возникло между ними. Его рука легла на её затылок, вторая — на талию, притягивая ближе, но не настаивая. Он целовал её так, будто спрашивал разрешения каждую секунду, и это было именно то, чего ей не хватало всю жизнь: чтобы спрашивали. Чтобы не брали. Чтобы ждали ответа.

Когда они отстранились, за окном всё ещё гремела гроза.

— Я не хочу, чтобы ты уезжала, — сказал он хрипло, уткнувшись лбом в её лоб. — Я понимаю, что у тебя там жизнь, парень, планы, Москва. Но я не хочу, чтобы ты уезжала.

— Я пока не уезжаю.

— «Пока» — это не навсегда.

— «Навсегда» — это слишком страшно. Я даже с собой не могу разобраться, как я могу обещать «навсегда» кому-то ещё?

Он кивнул и поцеловал её ещё раз — коротко, почти невесомо, в уголок губ.

— Тогда останься хотя бы до утра. Гроза всё равно не кончится до рассвета. Просто побудь рядом. Я за эти три года забыл, каково это — знать, что в доме есть кто-то живой, кто

дышит рядом.

Саша посмотрела на него — на мокрые волосы, рассыпавшиеся по плечам, на усталые глаза, на татуировку, темнеющую на предплечье, — и поняла, что никуда не хочет уходить.

— Я останусь. Пока гроза не кончится.

Он улыбнулся — открыто, широко.

— Тогда я поставлю ещё чайник. А ты пока расскажи мне что-нибудь. Что угодно. Мне интересна ты.

И Саша начала рассказывать, а гроза за окном постепенно стихала, уходила на восток, оставляя после себя влажную, дышащую свежестью землю. Про художественную школу, про Артура, про бабушку, про свой тайный артбук — призналась, что рисует его, Рому, и что набралось уже двенадцать набросков. Он расхохотался и притянул её к себе, уткнувшись носом в макушку.

— Ты тоже. Повсюду.

Она уснула под утро, укрытая его рубашкой и его дыханием. Проснулась от солнца — Ромы рядом не было, ушёл проверять ульи после грозы. На подушке лежал луговой василёк, и Саша улыбнулась, прижав его к губам. Она оделась, заплела волосы и вышла на крыльцо. Утро воскресенья, четырнадцатого июля, было прозрачным и свежим, пахло мокрой травой и яблоками. Над пасекой снова гудели пчёлы.

Саша шла по тропинке к своему дому, всё ещё чувствуя на губах его поцелуй, и мысли её были далеко — там, в избе

у печки, где пахло дымом и мёдом и где он читал ей стихи. Она не сразу заметила фигуру у своей калитки.

Катя стояла, прислонившись спиной к забору, и крутила в руках ромашку. На ней было светлое платье в мелкий цветочек, коса перекинута через плечо — всё как обычно, всё как всегда. Только глаза были необычные: холодные, внимательные, оценивающие.

— Доброе утро, соседка, — сказала она, и голос её звучал почти ласково. — Хорошо погуляла?

Саша остановилась. Сердце пропустило удар, но она заставила себя смотреть прямо, не отводить взгляд.

— Доброе. А ты чего так рано?

— Да вот, думаю: дай зайду, проведаю. Гроза вчера была сильная, мало ли — может, помощь нужна. А тебя дома нет, — она улыбнулась, и улыбка эта была как приклеенная. — Я подождала немного. Час. Два. А тебя всё нет. Потом смотрю — ты от Ромы выходишь. Интересно получается, да?

Саша молчала. Катя оторвала лепесток от ромашки, бросила в траву.

— Ты не думай, я не осуждаю. Рома — парень видный, одинокий. Кому ж не хочется погреться? Только ты не забывай: ты здесь временно. Погостишь и уедешь. А я — я здесь навсегда. И знаешь, что я заметила за эти годы? Все, кто к нему приходят, рано или поздно уходят. Лиза ушла. Та, что прошлым летом приезжала, ушла. И ты уйдёшь. А он останется. Со мной.

Саша почувствовала, как внутри закипает раздражение, но голос её прозвучал спокойно:

— Катя, я не знаю, что ты себе напридумывала, но я не собираюсь с тобой соревноваться. Рома — взрослый человек. Он сам решает, с кем ему быть. И если ты его любишь — может, стоит просто сказать ему об этом, а не следить за мной?

Катя перестала обрывать ромашку. Подняла глаза — и в них мелькнуло что-то острое, почти опасное.

— А ты думаешь, я не говорила? Говорила. Десять лет назад. И пять лет назад. И три года назад, когда Лиза ушла. Он меня не слышит. Он смотрит сквозь меня, как сквозь стекло. А тут приезжаешь ты — и через неделю он уже читает тебе стихи, которые мне не показывал ни разу.

Саша вздрогнула. Откуда Катя знает про стихи? Неужели она подслушивала под окнами?

— Я не буду с тобой это обсуждать, — сказала она. — Извини, мне надо работать.

Она обошла Катю, открыла калитку и вошла во двор. Уже у двери её догнал Катин голос — тихий, но отчётливый:

— Сегодня ночью будут свечи, Саша. Я знаю, что ты придёшь. И я приду. Посмотрим, кого из нас он выберет.

Саша обернулась. Катя стояла у забора и смотрела на неё — не зло, не угрожающе. Скорее, с какой-то странной, болезненной решимостью. Как человек, который слишком долго ждал и больше не может ждать ни минуты.

— Это не соревнование, — сказала Саша. — И я не играю в эти игры.

— А придётся, — ответила Катя. — Потому что я не отступлю.

Она развернулась и пошла по дороге, а Саша осталась стоять на крыльце, чувствуя, как внутри борются гнев, растерянность и что-то ещё — что-то похожее на жалость. Катя была не злой. Она была несчастной. Но от этого её слова не становились менее опасными.

Саша вошла в дом, закрыла дверь и прислонилась спиной к косяку. Она думала о том, что сказала Катя. «Посмотрим, кого из нас он выберет». Это звучало как вызов. И Саша знала: сегодня ночью, у старой яблони, что-то случится. Что-то, что изменит всё.

Сегодня была та самая ночь. И Саша пойдёт туда. Не ради соревнования с Катей. А ради себя. Ради Ани. Ради правды, которая двадцать лет пряталась в тумане.

Глава 6. Ночь свечей

День четырнадцатого июля тянулся бесконечно. Саша пыталась работать — честно пыталась. Она сидела за столом у распахнутого окна, перед ней лежал почти готовый эскиз обложки, и заказчик уже прислал восторженное письмо с просьбой «добавить ещё немного золота на волнах и сделать небо более грозовым, чтобы передать атмосферу опасности». Но кисть не слушалась. Мысли разбегались, как муравьи из разорённого муравейника, и все они были об одном: о сегодняшней ночи, о словах Кати у калитки.

Она не видела Рому с утра — после той ночи, после грозы, после его стихов и его губ. Он ушёл проверять ульи, а она вернулась домой и столкнулась с Катей. И теперь каждое слово той встречи звенело в ушах: «Посмотрим, кого из нас он выберет». Это было сказано так, будто Рома — приз, который достанется победительнице в какой-то жестокой игре, правила которой Саша не понимала.

Она отложила кисть и подошла к окну. Над пасекой дрожал нагретый воздух, пчёлы гудели ровно и успокаивающе, и где-то там, среди разноцветных ульев, двигалась знакомая фигура. Рома работал. Саша смотрела на него и думала о том, как странно всё сложилось: она приехала сюда, чтобы подумать о свадьбе с одним человеком, а в итоге думает только о другом. И этот другой пишет стихи втайне от всех. И

чинит ей ставни без просьбы. И целует так, будто спрашивает разрешения каждую секунду.

К вечеру она сдалась. Накинула лёгкую куртку — ночи в Яблоневке были прохладными даже в середине июля — и вышла на крыльцо. Солнце уже скатилось за холмы, и небо на западе догорало алым и золотым, как будто кто-то опрокинул на горизонт банку расплавленного мёда. Пчёлы вернулись в ульи. В доме напротив горел свет, и Саша видела, как Рома сидит на крыльце и что-то чинит — кажется, тот самый дымарь, который пострадал во время грозы. Она хотела подойти, но передумала. Сначала — ночь. Сначала — свечи. Она зашла в дом, заварила чай и стала ждать.

В десять вечера в дверь постучали. Саша вздрогнула и открыла. На пороге стоял Рома — уже не в рабочей футболке, а в чистой льняной рубашке, с фонариком в руке и лёгкой курткой, перекинутой через плечо.

— Я иду с тобой, — сказал он вместо приветствия.

— Я тебя не звала.

— Знаю. Но я всё равно иду. Там ночью темно, туман, и я не хочу, чтобы ты была одна. Ты можешь злиться сколько угодно, но я уже решил.

Саша хотела возразить — и не смогла. Потому что на самом деле она боялась. Боялась темноты, боялась тумана, боялась того, что увидит у старой яблони. И то, что он пришёл сам, без просьбы, просто потому что волновался, — это было именно то, чего ей не хватало всю жизнь.

— Ладно, — сказала она. — Только не мешай мне смотреть.

— Не буду. Я вообще умею быть незаметным. Пчёлы подтвердят.

Она фыркнула и вышла на крыльцо. Они пошли через поле вместе — не держась за руки, но близко, плечом к плечу. Луна висела низко, жёлтая и круглая, как наливное яблоко. Туман ещё не поднялся, но в низинах уже клубился белёсый пар, цепляясь за корни яблонь. Где-то ухала сова, где-то далеко лаяла собака, а впереди, на краю сада, чернел силуэт старой яблони.

Они подошли ближе и остановились. В дупле ничего не было — пусто, только тень от лунного света и капли не то росы, не то воска на коре. Саша прислонилась плечом к соседней яблоне, Рома встал рядом.

— Ты веришь, что она придёт? — спросила Саша шёпотом.

— Я верю, что ты веришь. Мне этого достаточно.

— А если там никого не будет? Если всё это — просто байки?

— Тогда мы вернёмся домой и выпьем чаю. Тоже неплохо.

Она улыбнулась в темноте. С ним даже ожидание неизвестного становилось не страшным, а почти уютным. Они стояли молча, слушая, как стрекочут кузнечики и как ветер шелестит листвой. Время близилось к полуночи. Туман сгустился, пополз из оврага, затапливая сад. И в этой белёсой

пелене Саша вдруг увидела движение.

Кто-то шёл от края сада — не по тропинке, а напрямик, через высокую траву. Женская фигура. В тёмном платке, в длинной юбке. Она двигалась медленно, но не крадучись — скорее, устало, как человек, который проделывал этот путь много раз и уже не боится быть замеченным.

— Смотри, — прошептала Саша, сжимая руку Ромы.

— Вижу.

Женщина подошла к яблоне, остановилась. Достала из складок юбки три свечи — простые, белые, хозяйственные. Вставила их в дупло. Чиркнула спичкой. Первый огонёк дрогнул и выпрямился. Второй. Третий. Свечи горели ровно, серебристым, почти холодным светом, и в этом свете лицо женщины, скрытое платком, казалось вырезанным из старого дерева — резким, измождённым, но всё ещё красивым той особенной красотой, которая остаётся у людей, переживших большое горе. Саша замерла, боялась дышать. Рома молчал, но его ладонь осторожно легла на её плечо.

А потом из кустов у дальней яблони вышел Артур.

Саша узнала его мгновенно — по росту, по осанке, по тому, как он поправил воротник дорогой рубашки, даже стоя в мокрой траве посреди деревенского сада. Он выглядел чужим здесь — слишком правильным, слишком городским, слишком чистым для этого места, где всё было пропитано туманом и временем. И лицо у него было такое, какого Саша никогда не видела: холодное, брезгливое, с плотно сжатыми

губами.

— Я знал, — сказал он громко, и голос его прозвучал как выстрел.

Женщина у яблони вздрогнула, обернулась. На секунду её лицо осветилось пламенем свечей — бледное, с тёмными кругами под глазами, с застывшим на губах вопросом, — а потом она рванулась в сторону и исчезла в тумане так быстро, что Саша не успела даже крикнуть.

— Стойте! — закричала она и бросилась следом, но Рома поймал её за руку.

— Бесполезно. Она знает сад лучше нас. Не догонишь.

Саша вырвалась и всё же пробежала несколько шагов, но через минуту остановилась, тяжело дыша. Туман сомкнулся вокруг, и женщины уже не было. Она вернулась к яблоне. Артур не двинулся с места. Он стоял и смотрел на три горящие свечи, а потом перевёл взгляд на Сашу и Рому, которые стояли рядом — слишком близко, плечом к плечу.

— Значит, вот как, — сказал он медленно. — Приехал проверить — и не зря. Ты действительно нашла себе здесь кого-то.

— Артур, что ты здесь делаешь? — Саша не отодвинулась от Ромы. — Ты следил за мной?

— Мне сообщили, что у моей девушки в деревне кто-то есть. Я не поверил. Решил убедиться лично. И убедился.

— Я не твоя девушка. Больше нет.

— Что значит «больше нет»? Мы два года вместе. Я стро-

ил планы. Я говорил о свадьбе. Ты ни разу не сказала «нет».

— Я говорила. Просто ты не слышал. Ты вообще никогда меня не слушал. Ты купил кольцо, не спросив. Ты объявил родителям, не посоветовавшись. Ты всё решил за меня, Артур. А я устала. Я не хочу, чтобы за меня решали.

Он помолчал, глядя на неё в упор, и лицо его медленно менялось — растерянность уступала место раздражению.

— И ты решила, что этот... — он кивнул в сторону Ромы, — лучше меня? Деревенский житель? Что он тебе даст?

— Он хотя бы спросил, чего я хочу. Ты — ни разу за два года.

— Потому что ты сама не знаешь, чего хочешь! — взорвался Артур. — Ты вечно сомневаешься, вечно всё драматизируешь! Я думал, ты повзрослеешь. А ты вместо этого сбежала в глушь и закрутила роман с первым встречным!

— Это не твоё дело.

— Это моё дело! Ты моя девушка!

— Я не вещь, Артур. Я не принадлежу тебе. И я не вернусь.

Он смотрел на неё, тяжело дыша. Потом перевёл взгляд на Рому, который всё это время стоял молча, не вмешиваясь, но и не отступая.

— А ты, — сказал Артур, — ты вообще кто такой, чтобы встревать между мной и моей невестой?

— Я человек, который рядом с ней, — ответил Рома спокойно. — И я не встреваю. Она сама решает.

— Она не умеет решать! Ей нужен кто-то, кто направит её, кто возьмёт ответственность!

— Ей нужен кто-то, кто будет её слышать, — сказал Рома. — А не кто-то, кто будет решать за неё.

Артур усмехнулся, и усмешка эта была недоброй.

— Ты думаешь, она останется с тобой? Она городская. Она привыкла к нормальной жизни. Через месяц ей надоест твоя деревня, твои пчёлы, твоя... простота. И она вернётся. Если не ко мне, то в Москву. А ты останешься здесь. Один.

— Может быть, — сказал Рома. — Но это будет её решение. Не твоё. И не моё.

— Всё, хватит, — Саша встала между ними. — Артур, уходи. Сейчас же. Я не люблю тебя. Я не хочу выходить за тебя замуж. Я не вернусь ни сегодня, ни через месяц, ни через год. Всё кончено. Пожалуйста, просто уезжай.

На секунду стало тихо. Только свечи потрескивали в дупле, и где-то далеко снова заухала сова. Артур смотрел на неё, и лицо его менялось — гнев уступал место чему-то другому: обиде, глубокой, многолетней.

— Ты пожалеешь, — сказал он тихо. — Ты ещё приползёшь ко мне. Но будет поздно.

Он развернулся и пошёл прочь. Его фигура растворилась в тумане, и через минуту они услышали, как на окраине деревни завёлся мотор дорогой машины, взревел и затих вдали. Артур уехал — но куда именно, Саша не знала.

А в это время Катя стояла на крыльце своего дома и смот-

рела, как свет фар разрезает туман. Она сдала Артуру старую летнюю баню позади дома — маленькую, но чистую, с печкой и раскладушкой. Когда он приехал сегодня днём и спросил, где можно переночевать, она предложила эту баню почти не раздумывая. Пусть побудет рядом. Пусть увидит всё своими глазами. Может, он ещё пригодится.

Она увидела, как машина остановилась у её дома, как хлопнула дверца, как Артур прошёл к бане, не глядя по сторонам. Катя не вышла к нему. Она стояла в темноте и думала о том, что её план провалился, но это ещё не конец. Он зол, он унижен, и это можно использовать. Завтра она предложит ему чай. Завтра она начнёт новую игру.

Саша опустила руки. Её трясло. Рома подошёл ближе и обнял её — без слов.

— Она была здесь, — сказала Саша тихо. — Аня. Она живая.

— Я видел. Мы найдём её. Завтра же пойдём к деду Акиму, и он скажет, где она живёт.

— Ты веришь мне?

— Я верю тебе. И я видел её своими глазами. Этого достаточно.

Они стояли у старой яблони, пока свечи не погасли — все три разом. А потом пошли к дому вместе, держась за руки. Над Яблоневкой занимался рассвет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.